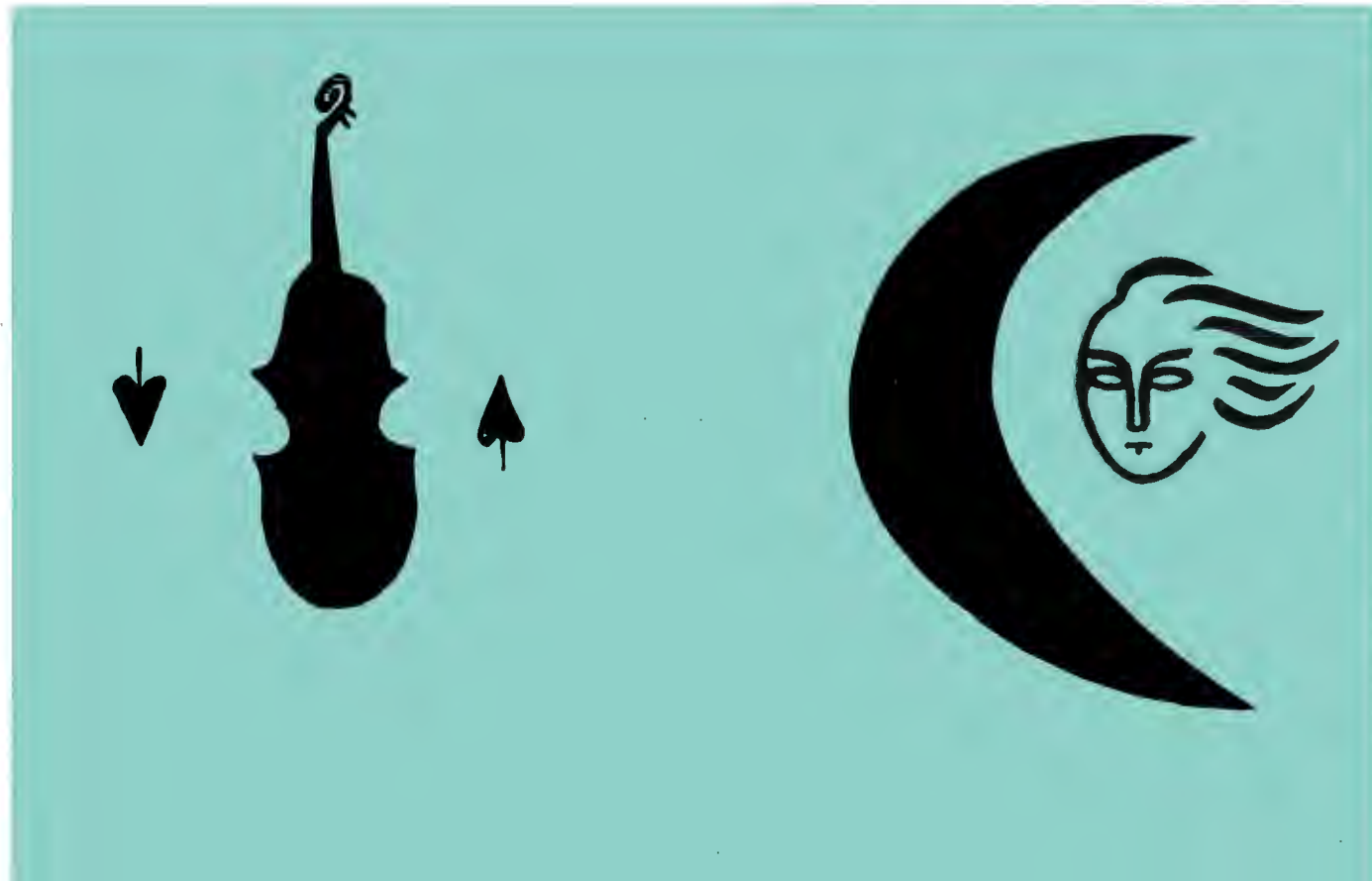
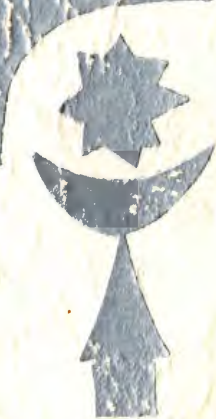
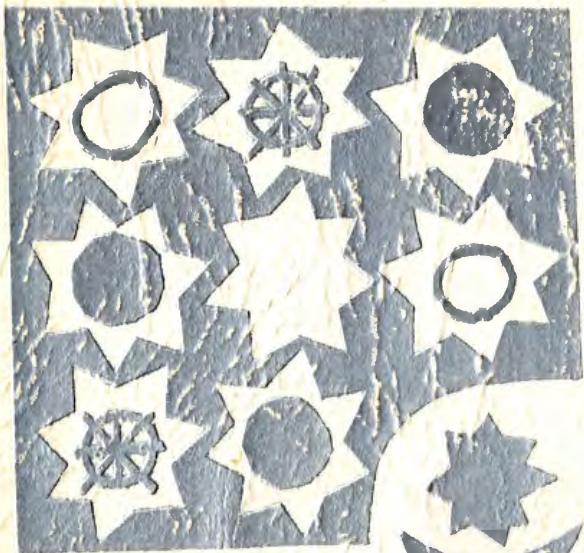


К.И. ГАЛЧИНСКИЙ



СТИХИ





**КОНСТАНТЫ
ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ**



СТИХИ

Перевод с польского



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967**

И (Пол)
Г16

Составление

Г. ЯЗЫКОВОЙ

Предисловие

Д. САМОЙЛОВА

Оформление художника

В. ЮРЛОВА

7-4-4
184-66

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ

Галчинский писал зелеными чернилами, называл себя в стихах зеленым Константы, придумал театрик под названием «Зеленый гусь». Была ли в этом идея, пристрастие или игра?

У Галчинского нет граней, отделяющих жизнь от поэзии, трагедию от фарса, труд от игры, веселье от грусти.

Всякий поэт загадочен. Но в Тувиме загадочность кристалла. В Галчинском загадочность облака. Нельзя предвидеть, какие очертания примет его стих.

Леопольд Стафф писал, что он показал, «сколько бессмыслицы в поэзии и сколько поэзии в бессмыслице».

Владислав Броневский назвал его «поэтом греко-цыганским».

У него было два имени, одно придуманное, шуточное — Ильдефонс, другое, данное при рождении, — Константы. Два имени слились для читателей воедино.

Он и в поэзии был одновременно выдуманым Ильдефонсом и живым Константы. Репутация его была зыбкой.

Гуляка праздный, мистификатор, шутник, поклонник Бахуса, беспечный и забавный.

Или другое. Трагик, разыгрывающий драмы в кукольном театре. Луватический мистик. Катастрофист.

Ставили в тупик его стихи. Что они? Юмор? Сатира? Философская или любовная лирика? Может быть, они небрежны? А может быть, это та предельная естественность формы, где не чувствуются усилия стиля?

Поначалу немногим было понятно, что в польскую литературу пришел поэт, которому суждено сказать в ней новое слово. Среди первых, кто разглядел необычайную одаренность Галчинского, были большие поэты Тувим и Броневский.

У него были поклонники в среде молодых литераторов конца 20-х — начала 30-х годов.

Но подлинного признания не было.

Новое слово было услышано, когда Галчинского не стало. Через несколько лет после смерти он стал любовью Польши.

Слово было услышано. Что он все-таки был за человек, каков он был поэт — Константы Ильдефонс Галчинский?

Он явился на свет в Варшаве, в семье железнодорожного техника, 23 января 1905 года. Отца его звали Константы, мать Вандой. Рассказывают, что старший Галчинский играл на скрипке, сочинял песенки, был фантазер, характером несдержан и легко возбудим. Наверное, от него поэт унаследовал музыкальность и странность натуры.

Впрочем, кто знает, много или мало наследует талант от своих родителей и от той среды, где он явился на свет.

Мы еще не изучили тайных законов, по которым происходит та удивительная концентрация способности к познанию и самопознанию, которую мы именуем талантом. Мы не знаем биологии таланта и мало занимаемся психологией творчества, потому в «реалиях» быта, в свойствах отцов ищем начальные контуры поэтической картины мира, которую творит художник.

Между тем чем выше художник, тем менее похож его опыт и его облик на опыт и облик среды, его породившей. В сущности, рождение таланта и есть преобразование жизненного опыта замкнутой среды в нечто высшее, в высшую чуткость к истине, в содержательность, выражающую природу человека, состояние человечества в данный исторический час.

Константы Галчинский родился талантом и стал поэтом. Его судьба трагична не только потому, что он поэт, но и потому, что он поляк первой половины XX века.

Гуманизм польского искусства выстрадан Польшей. Он прошел сквозь все адские круги национальной катастрофы 1939 года. Катастрофа эта вызревала в недрах истории Польши и сопредельных с ней стран.

В начале первой мировой войны семья Галчинских вместе с железнодорожным ведомством эвакуируется в Москву. В 1916 году Константин поступает в школу Польского комитета. Школа эта была островком польской культуры, в ней преподавали видные деятели польской науки.

Волны революционных событий лишь омывают, не захлестывая, польский остров в Москве. В 1918 году¹, после образования независимого Польского государства, Галчинские возвращаются на родину. В Варшаве Константин продолжает учение в гимназии, преобразованной из школы Польского комитета.

Он рано начал писать стихи. Способности его были разнообразны. Он с поразительной легкостью изучал языки. Играл на скрипке. «Первое стихотворение под названием «Сонет к любви» сочинил в Москве в 1915 году по при-

¹ Другие источники называют 1919 год. — Д. С.

чине любовных переживаний. Учительницу ботаники звали Казимера» («Краткая автобиография»).

Восемнадцать лет Константы Галчинский поступает в Варшавский университет на отделение английской филологии. Одновременно усердно изучает классическую филологию.

В 1923 году начинает печатать стихи в недолговечных молодежных журналах — «Творчество молодой Польши», «Смок».

Уже в ту пору зарождается легенда о необычном характере Константы Галчинского, о его остроумии и любви к мистификации. Забавными историями полны все воспоминания о поэте.

«Его всегда приводила в восторг ловкость иллюзионистов. Был без ума от цирка. Весьма интересовался так называемыми «тайными науками». Знаком был со всеми варшавскими магами...»

Говорил: «Мечтаю стать фокусником».

Занимался он много, но не тем, чего требовали университетские программы. Однажды написал блестящий реферат о средневековом английском поэте Морисе Гордоне Чийтсе с обильными стихотворными цитатами. Вскоре выяснилось, что такого поэта не было. Случай был скандальный.

В его шутках часто была доля тоски. Как-то он привел в дом к товарищу старого забулдыгу

и целый вечер выдавал его за своего отца. Потом объяснял:

«Было мне весь день тошно и пусто, аж в голове гудело. Так бывает, когда вдруг не хватает метафоры на все, что нас окружает. Надо было как-то спастись от грубой реальности мира, но я не знал как».

Он, поэт, постигал мир через метафоры. Иногда их не хватало, ибо мир был сложен. Иногда хотел оборониться от грубого вторжения реальности, но не знал как.

Он писал стихи, где были месяц, скрипка и музыка Баха.

Позже некоторые критики обвиняли его в мещанском стремлении уйти от жгучих проблем современности в вымышленный мир фантазии.

Может быть, он и хотел уйти. Но куда может уйти поэт от мира? Он лишь оборонялся — оборонялся шуткой, мистификацией, грустью. Он ведь знал, что в театре для себя — бутафорские стены. Что за бутафорской дверью, в которуюходишь, лежит тот же мир, из которого ушел. И он ломал эту бутафорию со скептической иронией. Но над сломанными декорациями стояло подлинное небо, была красота мира, в которую он влюблялся. И уже забывал иронию и скепсис и пел красоту с одержимостью романтика.

Постепенно Галчинский охладевает к университетской науке. По легкомыслию он не

оформил документ об отсрочке и в 1926 году был призван в школу подхорунжих, откуда его выдворили через шесть недель. Рассказывают, на вопрос: «Что есть винтовка?» — он ответил: «Орудие дьявола».

Это был его способ обороняться от солдатчины. Он прослужил два года рядовым. Ему грозило наказание за самовольную отлучку. Пришлось обращаться за выручкой к влиятельному Юлиану Тувиму.

Наш век на все дает жесткие сроки. После военной службы он дал Галчинскому десять лет для творческого становления. Потом было шесть лет фашистской неволи. И потом еще восемь лет творческого расцвета, неудач, сложных перипетий и болезней.

Предвоенный период творчества Галчинского составляет первый том его стихов. Том этот собран по журналам и журнальчикам после смерти поэта. Многие стихи пропали. Сгинули в военных пожарах повести «Три короля» и «Книга о моей жене».

Уцелела только ранняя сатирическая повесть «Порфирион Ослик». В ней друзья Галчинского узнавали себя и друг друга. Поэт писал позже, что это гротеск, разоблачающий мещанство.

В ту пору в польской поэзии сияли крупные таланты. Был маститый Стафф, поэт, начинавший еще с «Молодой Польшей». Были революционные писатели Владислав Броневский,

Бруно Ясенский. В расцвете славы пребывали «скамандриты» — Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич.

Политическая ориентация у них была разная, ибо сложны были взаимоотношения различных слоев польского общества. Социальное самосознание интеллигентских групп было противоречиво и запутанно.

Официальная Польша тянула направо. Свиристовала цензура. Рыкала военщина. В качестве официальной идеологии расцветал шовинизм.

Все это для пронипательного художника звучало предчувствием надвигающейся катастрофы.

Так ощущал время Тувим, начинавший в ту пору мыслить социальными категориями. Но он был уже зрелый художник.

Галчинский был молод. Вместе с другими молодыми писателями — С. Р. Добровольским, Л. Шенвальдом, В. Слободником, М. Салинским, С. Флюковским — он входит в литературную группу «Квадрига». Миновало время хлестких манифестов литературного авангарда. «Квадригу» связывали вкусы, дружба, молодость. Предыдущее поколение пришло в литературу в пору крушения режимов, ниспровержения авторитетов. Одни боролись против правительств, другие против литературных штампов. Кто не умел бороться «за», боролся «против».

Галчинский не хотел ниспровергать. Он хотел органической жизни в искусстве.

Галчинский воспринимает все разнообразие жизни. Он видит во всем и возвышенное и смешное. У него нет субординации явлений по степени их важности. В его стихах нет «маленького человека», которого нужно жалеть, или поучать, или спасать. В нем нет ни чаплинизма, ни «всеведенья пророка».

Для него вселенная — театр, где разговаривают дети, герольды, птицы, кони, деревья. Он автор этого театра, и актер, и зритель.

Это не значит, что поэт не чувствует, не понимает и не хочет понять свое время. Время для него — размалеванные кулисы и бутафорские маски вселенского театра.

Время — условность театра. А над кулисами — месяц, небо, ночь.

И ночи саксофон прекрасный
звонит, высок и необыден.

И польских дней абсурд ужасный
во тьме не так уж очевиден.

Галчинский любил допоздна засиживаться в кофейнях, бродить ночью по улицам города. Кто знает, какой свет в окошке был началом «Вита Ствоша»? Станислав Мария Салинский, близкий друг поэта, рассказывает, как шли они однажды перед рассветом по Театральной

площади в Варшаве. В небе сияла большая, неподвижная зеленая звезда. Галчинский вполголоса стал читать стихи Блока:

Свирель зашела на мосту.
И яблони в цвету,
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну...

Потом подумал и попросту, обращаясь к звезде, как к человеку, сказал по-русски:

— Теперь я понял ваш секрет, Александр Александрович... — И сразу к спутнику, по-польски: — Вот бы стать таким, как он.

В музыке Галчинского русскому читателю слышится свирель Блока. Но слышится и другое:

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей...

У Блока «свирель на мосту» и «балаганчик» — в разных слоях творчества, в разных творениях, в разных периодах жизни. У Галчинского они — в одном стихотворении. Может быть, так легче себе представить стихи Галчинского тому, кто их не читал.

Среди излюбленных писателей Галчинского называют Кохановского, Норвида, Есенина, Вийона, Рембо, Уайльда, Эдгара По, Кокто, Гофмана, Шекспира. Отзвук этого «эклектического» вкуса можно отыскать в творениях поэта. И все

же, по-видимому, блоковская струна звучит в нем наиболее явственно.

Здесь речь идет не просто о влиянии, а о некоем типе поэтического мышления, об освобожденности от любых предубеждений стиля, догмы, доктрины, о доверии поэта к своему поэтическому мироощущению, о единстве поэзии и морали.

В 1930 году выходит отдельное издание небольшой поэмы Галчинского «Конец света» — первая среди немногих отдельных поэтических книг, увидевших свет при жизни автора.

В поэме — ощущение непрочности времени. Там в условной «зеленой Болонье» астроном Пандафианда предсказывает конец света. И ему поначалу не верят. Поэму можно трактовать как систему взглядов. А в ней главное — социальная неприкаянность. В ней гротескная манифестация против конца света, где перемешались парламентарии, портные, черти, ангелы, полицейские, социалисты, коммунисты, анархисты, неопаписты, дети. И жгучая нота одиночества и тревоги:

А уж где-то гремело,
а уж где-то блистало.
И недоброе что-то
вокруг вызревало.

В сатирическом шествии нет самого поэта. Он надеется, что можно пересидеть конец све-

та с веселыми студентами в таверне, сочиняя акrostихи девушкам, или проспать, как плотник Джиованни Лукко. Он думает, что можно спастись весельем и искусством.

Но время показывало, что оно не театральная условность. Нельзя было отсидеться в кабачке и отшутиться. Искусство требовало политической ответственности.

Не всегда можно винить современников за то, что они не поняли поэта. Порой поэт не понимает современников. Требовался гражданский стих и четкая позиция. Стих Галчинского был причудлив и неопределенен.

Может быть, поэтому успехи Галчинского были не шумны. Слава не спешила к нему. Он, кажется, ее не торопил.

В ту пору он женился по страстной любви, и в поэзию его вошел еще один постоянный образ — «серебряная Наталия», вечная женственность, мать, возлюбленная и муза — один из самых пленительных и глубоких образов, созданных поэтом.

«Маленькая, но семья» требовала, однако, устройства. В Польше поэты не могли кормиться стихотворством. Леопольд Стафф переводил прозу. Тувим писал для кабаретов.

Галчинский поступает на службу. В 1931 году он выезжает в Берлин референтом консульства по вопросам культуры. Приходит относительное материальное благополучие. Можно

побродить по музеям, поехать по городам, послушать музыку, почитать на досуге Гете и блаженного Августина.

Однако карьера чиновника — не для Галчинского. Он без спросу уезжает с женой на неделю в Брюссель и в Голландию. Опять самовольная отлучка. Скандал. Отставка.

Почти три года украдено у поэзии. Перспективы не блестящи. В Вильно, где поселяются Галчинские в 1934 году, поэт пишет еженедельные фельетоны для радио. Сочиняет эстрадные песенки. Пишет и стихи. Но на них нет спроса. Литературная карьера и государственная служба одинаково не удаются. И тогда Галчинский получает письмо от редактора журнала «Просто з мосту» («Прямо с моста») с предложением сотрудничать. И принимает предложение.

Это одно из самых печальных событий в жизни Галчинского.

Владислав Беньковский, автор весьма содержательных воспоминаний о Галчинском, характеризует «Просто з мосту» как «орган молодой националистической «правицы», которая под влиянием итальянских и гитлеровских образцов формулировала свою фашистскую программу».

«Приманка, которой пользовался интеллигентный редактор, была в конечном счете типична для первой фазы фашизма — программа, которая устраивала всех: либералов — либерализмом, идей вождизма — молодых фалангистов».

Антикапитализм сочетался здесь с антикоммунизмом.

Писателей, не искушенных в политике, привлекала мнимая широта платформы. Демагогические требования свобод, по существу, прикрывали реакционную ориентацию журнала, его антисоветскую, антипролетарскую, антикоммунистическую позицию.

Константы Галчинский так и не отсиделся в кабачке с веселыми студентами. И он включился в гротескное шествие «Конца света» и — увы — на самом правом фланге.

Галчинскому создают рекламу. У него наконец выходит книга стихов. Из Вильно он с семьей перебирается в Варшаву.

В обстановке страшного политического разброда, трагического кризиса, который переживает Польша накануне войны, общественная позиция Галчинского двусмысленна и неудобна. Он нужен тем, кто надеется при помощи националистического одурманивания народа прийти к власти и разделаться с левыми силами, требующими общественной свободы и справедливости. Правый фланг правящего класса, опирающийся на озверевшего мещанина, редко умеет поставить себе на службу талант.

Галчинский был находкой для «Просто з мосту». «Просто з мосту» было несчастьем для Галчинского. Он понимает ложность своего положения. Он пишет стихотворение «Импреса-

рио и поэт». В нем печаль, злость, разочарование и безысходность.

Неизвестно, как окончился бы духовный кризис Галчинского. Все запутанные узлы его жизни жестоко разрубил война.

Двадцать четвертого августа 1939 года Константин Галчинский получает мобилизационную повестку.

Семнадцатого сентября он попадает в плен. Два стихотворения — «Песнь о солдатах с Вестерплатте» и «Сон солдата» — датированные 16 сентября, доставляет один из друзей жене поэта.

Пленных рядового состава польской армии гитлеровцы, в нарушение международных конвенций, стараются использовать на работах в Германии. Для этого их заставляют принять гражданское положение. Галчинский отказывается. Его отсылают в лагерь Альтенграбов.

Начинается шестилетняя лагерная жизнь поэта.

Изредка окольными путями доходят до Натальи Галчинской стихи ее мужа: «Письмо узника», «Серебряная акация», «Песнь о флаге».

Как ни трудно об этом судить, в годы плена, по-видимому, в поэте возникают новые понятия о назначении художника. «Литературное творчество,— пишет он в одном письме (1944),— есть своего рода бокс с обществом, и общество,

если оно живое, имеет право на ответную реакцию».

Окончание войны Галчинский встречает на границе Голландии. В литературных кругах ходят слухи о его гибели. Знакомые в Италии по памяти собирают и издают том его стихов.

Послевоенная неразбериха судеб, надежд, передвижений бросает поэта в Париж, в Брюссель, в Голландию.

В 1946 году Галчинский возвращается на родину. С семьей поселяется в Кракове.

Начинается новый, необычайно плодотворный и многогранный период творчества Галчинского, к сожалению, завершившийся так скоро. Потребность приятия мира, приятия новой действительности, которая лежала в основе поэтического характера Галчинского, стала сформулированной поэтической философией.

На пути поэта стояло немало трудностей психологического характера. После первых восторгов победы время наступает строгое. Учитываются военные заслуги, вспоминается политическое прошлое. Пребывание в лагере для военнопленных не спасает поэта от попреков.

Творчество Галчинского по-разному оценивала критика. Огорчало политическое недоверие. Однако в Галчинском преобладало и нарастало чувство органического приятия жизни. Все разнородные инструменты поэзии соединились в мощном и стройном хоре.

Он повторяет постулат бентамовской этики: «Наивысшее счастье для наибольшего количества людей».

Так формулирует для себя поэт этические задачи художника новой Польши. Он писал позднее в краткой автобиографии:

«Началом своей творческой зрелости считаю год 1946... Я беспартийный, но стремлюсь к тому, чтобы моя лирика и драматургия заслужили себе имя литературы партийной. Так учит Ленин».

В 1946 году в журнале «Пшекруй» Галчинский начинает публикацию цикла «Зеленый гусь», произведений для театра «самого маленького в мире». Сценки из «Зеленого гуся», поразительные по лаконичности, оригинальности драматургии, сатирической остроте, сейчас оцениваются как непревзойденные образцы польской сатиры.

Театр Галчинского, сразу завоевавший успех у публики, отнюдь не сразу завоевал положительные отзывы критики.

Новое часто судят по старому. Галчинского судили по той среде, из которой он вышел, а не по тем идеям, к которым пришел.

Впрочем, официальные и полуофициальные нападки, мешавшие Галчинскому жить, не мешали ему писать. Он чувствует за собой читателя и главным считает ответственность перед ним. Именно в послевоенные годы достигает

полного расцвета великолепная лирика Галчинского. Он создает «Заговоренные дрожки», «Колечки Изольды», «Пасхальную ночь Иоганна Себастьяна», «Ольштынскую хронику», «Песни» — образцы небывалой по своеобразию поэзии.

Кристаллизуется и новый тип лиро-эпической поэмы Галчинского «Ниобея» и «Вит Ствош».

Поэзия Галчинского причудлива и сложна. Причудлива, как его характер, ибо он один из тех, кто мог бы повторить вслед за Кохановским — «пишу, как живу». Сложна, потому что сложен его внутренний мир и у поэта нет нужды поступаться этой сложностью. Читатель как правило верит таланту и не жалеет сил на то, чтобы понять любую сложность поэзии, если она помогает ему разгадать сложность времени. Так произошло с Галчинским, которого сейчас читают школьники всей Польши.

Вот что сам поэт писал о «Ниобее»:

«Друзья по ремеслу говорят мне: «Ниобея» — вещь сложная. Они ошибаются. «Ниобея» вещь очень сложная...

В ней применен новый метод строения поэмы. На чем основан этот метод? На использовании разнородных материалов и на попытке построить из них однородное стилистическое единство. В конце концов и дом строится не только из кирпича, но требуется еще железо,

и стекло, и цемент, и дерево для оконных рам...»

У художника уже нет желания быть фокусником и магом. Сочинение поэмы сравнивается сперва со строительством дома, потом с музыкой.

О музыкальности Галчинского писали много. Он действительно был музыкален и любил музыку, особенно Баха. В его стихах можно найти и непосредственность Баха, и его многоголосье. Поэзия Галчинского заимствует у музыки не только звучание (и ассонансы, и полнота звучащего слова в каждой строке, и своеобразная переключка рифм), но и музыкальное построение.

В «Ниобее» есть и увертюра, и скрипичные концерты, и чакона. «Заговоренные дрожки» построены, как соната,— все шесть частей начинаются обозначением музыкального темпа.

Музыкальное построение в понимании Галчинского — это не просто звучность слова, а прежде всего логика построения стиха, его архитектура, закономерность смены чувств и настроений.

Эта логика и преобладает в композиции стихов и поэм Галчинского. То, что кажется закономерным с точки зрения традиционной композиции литературного произведения, становится оправданным и проясняется в сопоставлении с музыкальной формой.

Поэма о Вите Ствоше, великом польском художнике средних веков, построена, как симфония. В «Ствоше» есть и аллегро, и скерцо, и торжественный финал. Есть повторяющиеся и развивающиеся музыкальные темы. Галчинский заимствует у музыки способ построения образа, ни на минуту не забывая, что это образ литературный и что главное в литературе не звучание слова, а его смысл.

«Вит Ствош» — поэма о времени и о художнике, о назначении художника. В ней чувства и мысли, выстраданные, и выношенные, и выраженные объемно. Здесь не только музыка, но и скульптура.

Скульптор Вит Ствош понимает жизнь, как творчество. Его связь с жизнью города непосредственна. Он изображает то, что видит, — *того* человека, *тот* цветок, *того* коня. Он сам налагает на себя высокую и тяжкую обязанность художника и, исполнив ее, уходит, не требуя награды.

Он художник улицы, города, народа. С улицы поднимается он ввысь, к обобщению. Он не хуже и не лучше тех, кто его окружает. Высшее одобрение для него — суд столяров и плотников.

У художника интимная связь со всеми явлениями жизни. С ним разговаривают игрушки. За него предстательствуют птицы. И поэтому он, говорящий как равный с городом и с при-

родой, как равный требует себе места среди великих.

Галчинский, изображая Вита Ствоша, имеет в виду художника вообще и себя в частности. Ствош не отделен от нас непреходимым расстоянием времени. Поэма заканчивается картиной дома, где Галчинский писал поэму.

Некоторые «левые» течения искусства XX века считают, что общество состоит из ненужных друг другу, одиноких индивидов, которых смешивают с индивидуальностями. Так же разделен и мир вещественный. Предметы сталкиваются с предметами. Из этого рождается метафора XX века, парадоксальный, необычный образ.

В поэзии Галчинского есть классическое ощущение единства мира, единства людей и природы. Он не разъединяет. Он соединяет.

У него как у художника нет потребности самоутверждения, нет страха раствориться, смешаться с толпой, нет потребности выделяться чем-то необыкновенным. Искусство его сложно, но не усложненно. Оно для всех.

Когда-то в молодости Галчинский говорил другу: «Наденем плетеные шляпы, черные пелерины и синие очки. В таком наряде будем бродить по дворам, петь свои собственные уличные баллады. А в промежутках декламировать разные части «Дон-Кихота». Что за счастье быть свободным уличным артистом!»

В своем роде Галчинский и был уличным артистом. «Мастер любил улицу». У него было ощущение уличного артиста — потребность раздавать всем свое искусство и слишком мало за это требовать.

Константы Ильдефонс Галчинский умер в Варшаве в 1953 году всего лишь сорока восьми лет от роду.

В наши дни он — один из самых любимых поэтов народной Польши. В его честь устраивают фестивали, называют школы и корабли.

Добрая слава бродит долго, но приходит наверняка.

Наш читатель еще мало знаком с творчеством выдающегося польского поэта, но час знакомства с ним настал. Небольшая книга стихов, конечно, лишь в малой степени может показать все разнообразие поэтической интонации Галчинского, причудливую фантазию и многие другие свойства его поэзии. К тому же переводить такого поэта — нелегкое дело. К нему надо примеряться много раз. И все же каждый, кто откроет эту книгу, поймет, что в его жизнь вошел совершенно особенный, новый поэт:

Константы, сын Константы,
прозванный в Испании — мастер Ильдефонс.

Д. Самойлов



СТИХИ



А он расплывется в улыбке, уставится долгим
взглядом.
Не будь губошлепом, Джон! Чудные гримасы
не к месту.
Сегодня твоя помолвка; не нарекай на невесту.
Забелеет огромная скатерть; винам на скатерти
тесно.
Целуйся же, Джон-простофиля, с твоей невестой
прелестной!
Как ты, она с виду спокойна, внутри же —
кипящее пламя,
Горячие звезды взвевает ладонями-веерами.
Как жарко огонь этот греет! Как радостно в этом
блеске!
Словно старый Шекспир в камине играет
забавные пьески.
Довольно, милые дети! Пора уже в зал перейти
вам.
Столы накрытые гнутся, нет сладу с оркестром
ретивым.
Тетки над тортами вьются — рой ангелочков
летащий.
Мы не притронемся к тортам, губы — желанней
и слаще.

А когда удалятся гости и захлопнутся наглухо
двери,—
Губы Джона и Фанни распалатся, как вольные
звери.
Губы сольются с губами, пальцы вопьются
в ладони,
Краше Германа и Доротея — жених и невеста
на троне.
Она — разлитое Небо, он — Океан безмерный,
Она — благородная дама, он — рыцарь со
шпагою верной.
Вот и конец представленью. Спешите, актеры,
не стойте!
Делайте странные жесты, гримасы чудные
стройте.
Занавес... рукоплесканья... Тсс... Свет рассветный
в оконце.
На стекле — ягненок... за стеклом — золотистый
голубь... малое... сладкое солнце.



СЕРВУС, МАДОННА

Пускай иные книжки пишут. Право,
пусть слава их гремит, как колокол стозвонный,
я книжек не пишу, и ни к чему мне слава,
сервус, мадонна.

Не для меня спокойных книг свеченье,
и солнце, и весна, и луг благовонный,
для меня — дождливая ночь, и ветер, и
опьяненье,
сервус, мадонна.

Одни были до меня, другие придут позже,
ведь жизнь бесконечна, а смерть бездонна.
И все это со сном безумца схоже,
сервус, мадонна.

Это ты вся в калужницах желтых, святая,
в цветах моего детства — тиха и бессонна,
я веночек сплетаю, грязь россою смываю,
сервус, мадонна.

Не презирай венок поэта — лоботряса, а может, и
труса,
которого знают редакторы и слуги закона,
ведь ты моя мать, и возлюбленная, и муза,
сервус, мадонна.

1929



ТОВАРНАЯ УЛИЦА

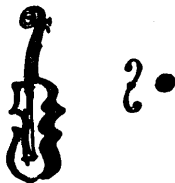
В сумерках местные франты играют на мандо-
линах,
И разноцветные ленты колышет ветер сторож-
кий.
Смородинки-звезды мерцают, месяц встает над
киношкой...
Здесь вообще не скучают в часы вечеров длин-
ных.



ПУТЬ В СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ

Полощут ленты бича, словно вымпел багряный.
В небе звезд, что в Аффрике птиц,— бессечно!
Колеса — еле-еле, кони — шажком, неохотно,
А кучер совсем одинокий и пьяный.

Карета — музыка, музыкальный ящик.
Ночь вокруг нее — великое счастье, без края.
Вот-вот серебряным вихрем рассыплет, играя,
Месяц рои светляков, горсти блесков летящих.



**НА СМЕРТЬ МОТЫЛЬКА,
КОТОРОГО РАЗДАВИЛ ГРУЗОВИК**

О ты, мой Низдесънитам!
Ты слишком порхал. Увлекался вздором.
Избыток цветов, недостаток мысли
тебе, как водится, боком вышли.
Пришлось заплатить по всем вексялям.
Итак, все кончилось полным позором.



ПРОСЬБА О СЧАСТЛИВЫХ ОСТРОВАХ

А ты увези меня лучше на счастливые острова,
ласковым ветром меня зацелуй, развей мои
кудри, как травы,
и укачай, усыпи и осыпь, отумань музыкаль-
ными снами
и сны не буди ото сна на счастливых тех
островах.

И покажи мне огромные воды и тихие воды,
дай мне услышать звезд разговоры на ветках
зеленых,
бабочек мне покажи и приблизь, приласкай их
сердца,
мысли; склонившиеся над водой, отягчи как
ветки, любовью.

1930



ПЕСНЬ ХЕРУВИМСКАЯ

Мы чуть свет расходимся — каждый
По своей дороге
Враждовать с чудесами.
Лишь к вечеру лягут
Работы дневной итоги,
Как новая скрипка, — пред нами.
Жена у окна с букетом.
От огня — на руках позолотца.
В ладонь, озаренную светом,
Музыка льется.

Сила огня печного
Распрямляет нам плечи.
Мы — что ни день атакуем снова,
Под градом картечи,—
У всех на виду, мы все резче
Бьемся — до смертного часа,
Добывая несложные вещи:
Хлеб, дрова, мясо.

Певчей порою вешней,
Когда река золотится,
Мы смотрим с моста, как здешний
«Кракус» в Млоцины мчится.
Дыма гривастые сплесни,
Брызг серебряных сизака...

А вахтенный тешитя песней:
«Марыська, моя Марыська».
Порою вымпел на мачте
Запачкан сажей с рассвета.
Все пятна отмоет,— не плачьте! —
Вода вислянская эта.

Медленно зреют люди. Им надобен дух
непреклонный,
Чтоб, не поддавшись ветрам, в небо и землю
врастать
И зашуметь под конец, победному дубу под
стать,
Буйною кроной.

Это совсем не усталость. Это в небе весеннем
Туча возникла на миг, чтоб, солнце затмив,
отгореть.
Нет! Наших рук не сдержать! Херувимы
стремятся и впредь
К новым свершеньям.

Когда-нибудь осенью нам все покажется
мельче, короче...
Но вырастут наши творенья и уснут, как толпа
великанов.
Мы за город выйдем тогда, на прошлое издали
глянув,
На дни, что не зря миновали, на наши бессон-
ные ночи.

Только надо себя превозмочь, побороть, покуда
мы живы.
Мы наших коней крылатых золотом кормим
червонным.
Слышишь? — в наших сердцах доброты всемо-
гущей призывы

Откликаются звоном.

Дай нашим женам сапфирные взоры,
Серебряные пальцы, гиацинтовые уборы.
Дай ребятишкам вдоволь вкусной каши,
И пусть растут простыми дети наши.
Пусть наша печь не будет позабыта,
Ей дров березовых ты дай поесть досыта.
И нашего кота не обойди вниманьем,
Пускай не мерзнет он морозным утром равним.
Безумных излечи, закрой дорогу войнам,
Дозволь передохнуть всем людям беспокойным.
Конец молитвы. В вышине
Гремит; и чаща, — как во сне, —
Мазовецкая, густая,
И трясина пинская
Вторят мне.
Так звучит моя насущная, упрямая, простая
Песнь херувимская.



ИНГА БАРЧ

Инга Барч, актриса, после переворота сгинувшая
при таинственных обстоятельствах...

Вот слово об Инге Барч,
сказанное как можно откровеннее
для будущего поколения.

Она была рыжая, но не совсем — у волос был
особый блеск.
Жила с Финком. Финк был режиссер. В ком-
мунисты из снобизма он лез
(есть такие и на Мазовецкой).

А Инга? В Инге был какой-то привкус немецкий,
этот акцент в слове «Mond» — луна... der Mond,
im Monde...

А Финк был дурак, но одетый модно.

Простая история: только что я рубеж переехал
польский...

Берлин... Берлиин... дождь...

Железный Фридрих вызывает сердечную дрожь.
Скука, и внезапное чудо — театрик! Сердечко
в подземелье!

Исполняется песенка: автор — Курт Тухольский.

Вижу: Инга за роялью начинает петь и играть.
До чего хороша; если встанет — будет лучше
стократ!

Встала. Груды у нее маленькие, миленькие.

И — извините, господа, — живот,
так чудесно на платье округлял он шелк,
что я начал аплодировать и орать: — Да
здравствует живот! —

Да так, что какой-то англичанин буркнул: —
— He's gone mad, — с ума он сошел.

Прошло несколько вёсен, осеней, зим,
 снова несколько вёсен;
 снова мгла покрывает осень, как дым
 (я очень люблю осень).

Вдруг в один прекрасный день
переворот. Соар d'état.

Переворот, pota bene содержал в себе нечто
 от виффлеемской звезды,
 за которой тянулось 3 000 000 волхвов.

И все произошло, как в театре:
 сидели мы с Ингой в Тиргартене,
 а осень в Берлине в Тиргартене —
 это, прошу прощенья, такие струны...

С деревьев сеялась мгла,
 ветра низкий бас,

и внезапно Инга: — Wiffen Sie waf?

(Что-то у ней было не то с голосом, не то с
зубами).

Wissen Sie was? ¹ Жить
мне надоело.

— Гм.—

Я взглянул на нее, папиросой дымя,—

¹ Знаете что? (нем.)

я не Выспянский¹, но как-никак
ее афоризм взволновал меня.

Но слишком поздно: револьвер не больше розы —
паф! и Инга погрузилась в вопросы
метафизики немецкой.

Толстяк, что рядышком в кружку свою
погрузился,
даже не вздрогнул, не поразился:
такое «паф» могло бы убить только младенца.

А потом ее ресницы стали еще длиннее;
труп пахнул осенью, черным кофе, грибами и
абсурдом.

Барч, Инга!

Жалко.

Твой талант мог стоять немало стерлингов.

Инга Барч!!!

Я вернулся в отель.

Сорок трубок за ночь — комната аж почернела
от дыма...

¹ Выспянский Станислав (1869—1907) —
выдающийся польский драматург, поэт, художник.

Нет, так нельзя: слишком просто — скука.
Надо как-нибудь переиначить,
комментарии присобачить,—
например, кровавая жертва режима,
подозрение, что в родне — семиты.
Гнилая морковь в лагере... подбавить пыла.
Выйдет строк на триста фельетон знаменитый.
(В Польше это именуют «кобыла».)

Осенью это случилось,
года три назад, допустим.
Итак, если редактор позволит,
пойдет так:
«Не выдержав удушливых тисков режима,
Инга Барч, актриса,
исчезла при загадочных обстоятельствах
после переворота».
А для концовки из Рильке что-то
о любви,
об одиночестве,
а заголовок просто: Инга Барч.

Беда!
Хороша.

Молода.

Плечи — что бархат персидский..

И было в ней что-то

женственное,

неуловимое,

далекое,

то, что нужно хватать когтями.

1934



СЧАСТЬЕ В ВИЛЬНО

Вдоль по улице Вильно — так-то так, мой
Буланко...

Как стряслось, любимая, это?

Вдоль по улице Вильно — так-то так, мой
Пеганко,

Нужно мчаться в санках с рассвета.

Разве мало, что с нами на целую вечность
Эти кольца в их тихом мерцанье...

А в придачу — надежные ставни, сердечность,
И Буланко — динь-динь бубенцамп.

Здесь ты розою станешь, здесь родишь ты мне
дочку...

Стойте, кони! Вон дом с палисадом,
Дверь — на улицу, окна выходят к садочку,
А в садочке — две яблони рядом.

1934



ФАРЛАНДИЯ¹

Мы встретиться хотели на мосту,
все о любви сказать начистоту,
под кленом, у киоска с сигаретами.

Но, как предвидел, худшее сбылось,
и анархисты подорвали мост,
так что же: не встречаться из-за этого?

¹ Far land (англ.) — далекая страна.

Везде так душно, жизнь везде тесна,
но, знаю, есть чудесная страна,
там пальмы, синь поет — страна Фарландия.

И не грусти, не лей напрасных слез
и не тревожься, что взорвали мост,
в Фарландии произойдет свидание.

*

Пальмы качаются,
пальмы качаются —
да-да-да.

Тут все бесчувственно,
не ворочусь сюда
никогда.

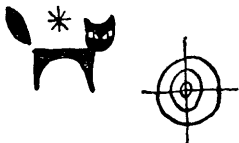
Пальмы — для птиц приют,
влагу из пальмы пьют,
ми-ма-ми.

Спим, сбросив горести,
в снах снова кормимся
пальмами мы.

Пальмы качаются,
пальмы качаются,
всё не засну...

Едем в Фарландию,
хрупкую, сладкую
нашу страну.

1934



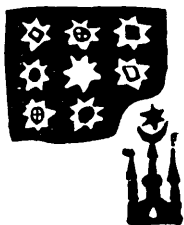
О МОЕЙ ПОЭЗИИ

Моя поэзия — ночь в пору полнолуния,
покой, успокоенье;
когда так сладки ягоды в июне,
прохладны тени.

Когда при мне ни девушек, ни женщин,
все дремлет сладко,
и в уголке пиликает кузнечик,
что очень славно.

Моя поэзия — простые чудеса,
тот край, где в лете
спит старый кот под форточкою чутко
на парашете.

1934



ПИСЬМО С РЕКИ ЛИМПОПО

Пишу вам с Лимпопо. Моя река
от вас необычайно далека.
Слоны гуляют вокруг моей палатки,
а люди красны, изумрудны, гладки.
У вас — я знаю: лампа керосиновая,
зевает, дрему пересиливая,
и закоулки дома — уголки
опутали большие пауки.
А вы надеетесь: еще придёт почта.

И лишь приемник, добрый, деревянный,
дает вам иногда концерт органный,
и из органа, копя вздев, выходит стража,
и ваши старые сердца скрипят от страха.
Что будет дождь — вам всякий день твердят
из ящика.

А у меня рубины настоящие,
и негритята надо мной растягивают палан-
кин.

С царьком всей Лимпопо играю в дураки.
А там у вас нужда,
скорь, мыши, дождь и Польша.



О НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

(Фрашка)

Зеленый мой Константы, серебряная Наталья!
Наверно, весь ваш ужин — лишь ландыши в
бокале.

И гномик с алебардой вокруг него кружится,
и бороду седую он вымазал в горчице.
Он, видно, сам наелся, а вы проели фанты,
зеленая Наталья, серебряный Константы!

1934



ПЕСЕНКА

Моя маленькая чтит рассольник,
до чего он мил ей, гибкой, смуглой.
Ест рассольник — и с меня довольно,
это счастье — есть рассольник с булкой.

Для интеллигенции, для нищей,
есть корчма с афишей роскошной —
свод морских прогулок... Под афишей
и сидит моя малышка с ложкой.

Рядом ходят шахматные кони.
А над Вильно снег, и снега много...
И на гибкой маленькой ладони
я Трем Королям черчу дорогу.

1934



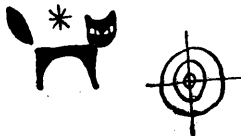
ВСЁ УБЕГАЕМ

Всё убегаем. Из города в город.
Интеллигенты.
Грустная раса. Класс, что поборот.
Нищи. Раздеты.

Семей миллионы. И граммофоны
по свету с нами.
Где же родина? — удивленно
спросят, — не знаем.

Плачем. Не отвечаем. Не слышим.
Губы кусаем.
Письма под пальмой искусственной пишем
по всем вокзалам.

1936



ВИЗИТ

Прошу, прошу, будь гостем, дорогой.
Ты должен все подробно осмотреть.
Вот чайник — он такой смешной,
не устает свистеть.

Кто там мурлычет? Это, между нами,
кот Соломон. Его вина.
А эта пани грустная с цветами —
моя жена.

1936



СКУМБРИЯ В ТОМАТЕ

Пришел в газету «Райские вести»
(скумбрия в томате, скумбрия в томате)
сморчок-старичишка, с песиком вместе
(скумбрия в томате, лец).

— Кто вы? — спросили сотрудники стоя
(скумбрия в томате, скумбрия в томате).
— Король Владислав Локоток, вот кто я!
(Скумбрия в томате, лец.)

В пещере я сиднем сидел,— понимаете?
(Скумбрия в томате, скумбрия в томате.)
Но дольше не в силах... Скумбрия в томате!
(Скумбрия в томате, лещ.)

Не в силах заразу терпеть я дольше
(скумбрия в томате, скумбрия в томате).
Иду навести я порядок в Польше
(скумбрия в томате, лещ).

Тут главный редактор чихнул: — Простите,
(скумбрия в томате, скумбрия в томате),
вы наш режим улучшить хотите?
(Скумбрия в томате, лещ.)

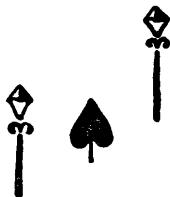
Лет десять назад,— это помним все мы
(скумбрия в томате, скумбрия в томате),
у нас уже был улучшатель системы
(скумбрия в томате, лещ).

Тоже шляхетный. Стрелял. И что же?
(Скумбрия в томате, скумбрия в томате.)
Кровь пролилась и высохла позже
(скумбрия в томате, лещ).

— Что же мне делать? — король заплакал
(скумбрия в томате, скумбрия в томате).
Редакторский стол слезами закапал
(скумбрия в томате, лещ).

Значит, не мне навести здесь порядок?
(Скумбрия в томате, скумбрия в томате.)
В пещеру, назад, золотой мой Владек!
(Скумбрия в томате, лещ.)

Скумбрия в томате, скумбрия в томате!
(Скумбрия в томате, скумбрия в томате.)
Вы Польши хотели? Так вот вам, нате!
(Скумбрия в томате, лещ.)



ИМПРЕСАРИО И ПОЭТ

За зря кричат вознице: «Стой!» —
Всегда мы вместе, братец мой.
Ты — словно цифра, я — как горе.

И так мы едем много лет.
Стоит зима, белеет свет,
пушится снег на косогоре.

Какой бы ни был: старый друг,
редактор, ты — один из двух,
мы оба связаны без срока,

и катит нас забавный воз
сквозь пыльный зной и сквозь мороз —
разбойника и скомороха.

Ты маракуешь, я дремлю,
в бок тычешь, тянешь за полу,
мол, ты твори, зря время тратишь.

А сотворю, ты, старый хрыч,
скорей купоны хочешь стричь
с моих божественных чудачеств.

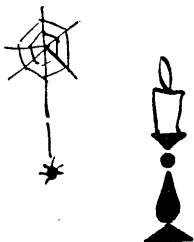
Так едем мы. Мерцает век,
как фонари; морей и рек
не различить во мгле смятённой.

Нас двое, не расстаться нам;
читаю я по небесам,
а ты по книжке телефонной.

Тебя смешит любой порыв,
ты рад, когда я несчастлив,
ты любишь лишь мои пороки.

Ты, словно шпик, глядишь из тьмы,
Бок о бок едем, едем мы.
Настороженны. Одиноки.

1937



АНИНСКИЕ НОЧИ

Оставь в покое ожерелье.
Ночного ветра канонада
гудит над нашею постелью,
как Альбенисова соната.

Алмазом месяц разрезает
стекло. Свеча из парафина
горит, и на постель свисает
паук — подобьем балдахина.

И ночи саксофон прекрасный
звонит, высок и необыден.
И польских дней абсурд ужасный
во тьме не так уж очевиден.

И опахалом безграничным,
украшенным узором птичьим,
узором, отлетевшим прочь,
нам Арапчонок машет чудный
с серьгой в ухе узумрудной...
И это — Ночь.

1937



Noctes aninenses ¹

1

Родственник Ганимеда

Сказала: «Не дурачься, уж скоро полночь минет,
гаси свет на террасе!»

А я уже шатался от запаха жасмина,
как фляга на баркасе;

¹ Анинские ночи (*лат.*).

и вдруг я все увидел (как бы очнулся разом)
сквозь лоз переплетенье:
террасу, виноградник, опутавший террасу,
фонарик на кронштейне.

Кронштейн тот был — поскольку мне все
казалось странным —
морским коньком в сиянье,
свеча — убогой бабкой под колпачком
стеклянным,
ветрам на посмеянье.

А ветер шел террасой, весь в запахе цветочном,
в полутонах, в иронии и смехе,
тогда в листве, как пьяный, фонарик на цепочке
качался для потехи.

Огни другие гасли. Луч, шаря по куртинам,
оплел весь виноградник,
его гнал дальше ветер, и стал лучом единым
лучистый палисадник.

Увидел я внезапно, мне даже страшно стало,
чудесные явления музы —

потом восходили звезды, рассыпались на небе;
позванивал я ими, как ключами;
и приходили сосны и прочие деревья,
просили: «Сделай так, чтоб мы звучали».

Застрекотал кузнечик, другой — шумнул и замер,
потом застрекотали все пригорки.
Кот Соломон явился и осветил глазами
квадрат зеленой фортки.

2

Песнь об июньской ночи

Увертюра

Когда в воздухе ночь зародится,
любопытна она, как девица,
все смешит ее, все ее тешит,
все ей хочется в руки забрать.

Черт немало дает ей в подарок
звезд фальшивых со звездных базаров,
ночь созвездья к ушам примеряет
и во сне их не хочет снимать.

Но, от звездного хмеля шалея,
в пляс идет по садовой аллее —
прямо к дому, по сонной дорожке —
и бренчат золотые сережки.

И при каждом ее повороте
освещаются кольца в заплоте,
наконец она здесь, у окошка,
и поет и танцует для нас:

Н о ч ь п о е т

Июньская, недлинная,
царевна я жасминная,
я ночь — глядите мне в руки,
послушайте, как все поет.

Глаза вам сном прикрою,
вас опою травую,
и небо раскрою пред вами
рулоном серебряных нот.

Сверну я небо это
и сделаю кларнетом,

чтобы звучал и звал он
неведомо куда.

Июньская, недлинная,
царевна я жасминная,
и песнь моя сильнее,
чем голод и беда.

Ночь танцует

Даже мгла задремала под лампой,
смолк кузнечик, и сад затрясся,
ибо ночь плясала у клумбы
и звенели ее запястья;

с блеском, так что глаза слепило,
пыль музы́ки взбивала беспечно,
руки вспархивали одновременно,
изумрудные вскинув колечки.

Сразу ирис расцвел, прозревши,
и воззрился, раскрыв ресницы,
все скворцы, покинув скворешни,
загляделись на танцовщицу;

а она с погремушкой, кру́гом —
еще раз, еще раз, и снова,
так, что звонким стал изумрудом
сад от этого танца ночного,

а цветник превратился в зеркало,
где мерцали звезды, застывши...
И воскликнула ночь и упала
к тебе в ноги летучей мышью.

Ночь умирает

Уже месяц мутнел и гинул,
но глядел зеленым оком непотухшим,
необъятно раскрылись глубины
для ковров, перин и подушек.

Звезды из серебра и мирры
составляли на стеклах свой ребус,
а из туч, из верхнего мира,
нисходило пение неба.

Мы тогда, как нехристи, отчаясь,
руки с плачем воздели невольно:
«Ночь короткая, длись, не кончаясь,
ночь, высокая колокольня!»

Взлет внезапный мыши ли, птах ли
испугал нас трепетом крылий,
бычьей кровью в покоях пахли
вина, пролитые из бутылей.

Ночь опять принялась за дело,
заплясала и так запела:

«Я ночь. По воле божьей
меня во гроб положат.
Украли мои изумруды,
как только месяц угас;

остались мне морщины,
ах, где мои рубины!
Спляшу вам гневный танец
вкруг клумбы последний раз...»

C o d a

Гей!
погасли, как зарницы,
изумруды той девицы..
Гей!

Листья вспыхнули, как пламя,
встало утро, ветер, сон.

Нетопырь заснул под жердью,
с клумбы брызнули созвездья,
побледнели, отлетели
в глубину небесных лон.

3

Н о ч н о е з а в е щ а н и е

Я, Константы, сын Константы,
прозванный в Испании мастер Ильдефонс,
будучи не в своем уме,
пишу при свечах завещанье.

Мотыльки танцуют возле свечек,
и, дрожа, кружатся вокруг них.

Мастеру, что создавал подсвечник,
завещаю бабочек nocturnes.

Если он пойдет вдоль улиц града
вечером, в тоске, в дыму неясном,
и увидит: пляшут на верандах
мотыльки и свет на клумбах гаснет,
пусть на лица глянет в желтом дыме,
постоит. Мое помянет имя.

А поэтам, нынешним и присным,
завещаю кафельную печь,
там сжигал я помыслы и мысли,
также игры, что не стоят свеч.
Им же — месяц. Я купил светило,
чтобы в нем хранить свои чернила.

Если же (и так случиться может)
и они, как я сейчас, точь-в-точь,
запоют, пергаменты разложат
и решат увековечить ночь,
буду я во искушеньях туч,
в манускриптах, как перо, скрипуч,

ведь шумел и отшумел я ночью
и клавир ее учил построчно.

Моей дочке Кире, танцовщице,
я седьмое небо завещаю,
шум высокий, свет, что чуть сочится,
и поющих херувимов стаю,
и природу, всю шкатулку тайнств,
пусть по ней свой изучает танец.

Теофилу, каждый вечер вешний
улочку дарю, где шепот юный,
и ворота целые на Лешне,
те, что были с бронзовым Нептуном.
Он сбежал, не уважая улиц,
и звездой попал в небесный ульец.

Всем, кто добр, дарю я, как алфáвит,
этой вот земли очарованье,
дятла, что свою работу правит,
серебра и злата вызреванье,
даже малых мушек, что роятся
на заре и уж не возвратятся.

А моим стихам — дыханье бури,
злые вспышки фосфора, грозу,
а моей Смуглой, моей Стройной, моей
Хмурой —
слезу.

1939



СТРАННЫЕ ДАЧНИКИ

Все разъехались, а эти двое
по поселку бродят поневоле,
рук не разнимают почему-то...

Молоды еще, а не случайно —
он печален и она печальна,
словно съедут навсегда отсюда.

И она уже не красит губы,
он всё письма пишет да рыдает,
больше не выходят на прогулки;
что за мука их грызет-съедает?

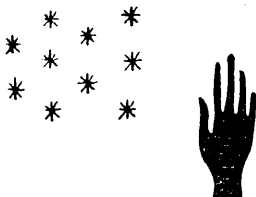
А приехали в таком веселье,
он удил, она сидела с книгой.
Кто-то жизнь их искривил, посеяв
в сердце страх с тревогою великой.

И вдоль стен, где светятся картины,
двое бродят, чужды, нелюдимы...
Что ж не едут — отпуск-то окончен.

Иногда пред нею на колени
упадет в неистовом моленье,
и опять молчит, рыдает молча.

Нынче по поселку раззвонили,
мол, они друг друга разлюбили...
Но, смотри, опять спустились к пруду.

Если это дьяволова злоба,
бог, озолоти сердца им снова,
ибо без любви им будет худо.



ПЕСНЬ О СОЛДАТАХ С ВЕСТЕРПЛЯТТЕ¹

Когда пришли лихие дни
и сгнули солдаты,
на небо строем пошли они,
солдаты с Вестерплятте.

(А в том году было чудесное лето.)

¹ Польский гарнизон в Вестерплятте оказал героическое сопротивление фашистским захватчикам в сентябре 1939 года.

И пели так: — Для нас пустяк,
что ранены сегодня,
зато легко, чеканя шаг,
идти в луга господни.

(А на земле в том году была уйма вереску
для букетов.)

Стояли в Гданьске мы стеной,
покуда не были смяты,
теперь восходим в мир иной,
солдаты с Вестерплатте.

И тот, кто взор и слух напряг,
услышит отдаленно
в высоких тучах мерный шаг
Морского батальона.

А мы поем: — Превыше туч
живем, на солнце греясь,
пойдем гулять средь райских кущ,
ломаю райский вереск.

Но если будет в дни зимы
земля тоской объята,
опять придем в Варшаву мы,
солдаты с Вестерплатте.

1939



ПИСЬМО ИЗ ПЛЕНА

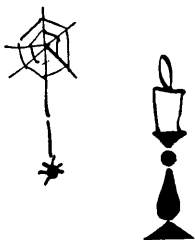
Любимая, доброй ночи,
глаза твои сон смежает,
стена моей одиночки
тень твою вспоминает.

Единственная на свете,
ну как твое славить имя?
Была ты водою летней,
была рукавичкой зимней.

Была ты счастьем весенним,
летним, зимним, осенним —
скажи ты мне доброй ночи,
пока не ушла к сновиденьям.

За что мне досталось все это —
жил как в преддверье рая?..
Ты — свет моего света
и песнь моя путевая.

Лагерь Альтенграбов, 1942 г.



З В Е З Д Ы

Поглядели звезды брабантские
на мои заблужденья, безумья гигантские,
разрыдались, расплакались надо мной,
а одна, голубая, сказала мне: «Маленький мой».

Вижу слезы, слышу рыдания.
Это плачут звезды Германии,
что в любви у меня слишком много огня,
что дуреха гитара сбила с толку меня,

и свеча, вдруг зажженная доброй рукой,
и свет свечи на локоне у виска,
маленькая луна, большие облака
и прогулки по мосту, на ветру, над рекой.

Голубая звезда германская
разрыдалась, как над маленьким мальчиком.
И черные звезды над Нотр-Дам
видали, как я одинок там,
а это во Франции лучшие звезды.

Когда они плакали надо мной,
поголубело, стало не так уж темно,
заголубелись и мост и воздух.

Лишь звезды Польши не остались со мной
и бежали, крича: это шальной,
ненужный влюбленный ненормальный,
ненужная звезда над мачтой,
ненужный цветок, инструмент негодный,
ненужный дуб, шумящий когда угодно,
ненужная песенка с любовным томленьем,
ненужный храм, где стоят на коленях,
ненужная скамейка, на которой сидят,
и услада, и ночь, и ад.

Париж, декабрь 1945 г.



УЛИЦА САРГ

(Комментарий изумрудом)

*Профессору Станиславу Пигоню
в благодарность за присутствие
на моем авторском вечере в
Collegium Novum*

Что она на краю света,
точно знает каждый полицейский —

как граммофонная пластинка черная,
с тою же самою песенкой упрочною.

Улица Сарг. Улица Сарг.
Катастрофическая улица.

«Лучшая тушь для ресниц
«Две Прозерпины».

Любовь? Залечишь эту рану.
Лавры? Придут, поздно ли, рано.

Но если улица чудо свершит,
тебя заколдует, заморозит,
как изумруд, канешь на дно.

Песенка про улицу Сарг

У врат трактира или ада
с утра стою, цветочком вяну,
под пристальным безумьем взгляда
плакатных морд с рекламы рваной.

В дыре без света, в мире злата
я здесь издревле подыхаю,
и снова день, и та же нота
заныла вновь, не отдыхая:

Улица Сарг. Улица Сарг.
Жуткая, граждане, улица.

Меняются цари и троны —
то восхвалённый, то проклятый.
Четыре годовых сезона
безумие сменяет: пятый;

у кинотеатра городского
картонный Чаплин с тоски травился.
Сонм звезд фальшивых в небо взвился
и каркает нам гороскопы.

Улица Сарг. Улица Сарг.
Жуткая, граждане, улица.

Здесь прежде Музы жили тихо
под музыкою и под небом,
и ты жила здесь, Эвридика,
но вихрь тебя похитил с гневом.

Я не слюнтяй, не хлюпик мерзкий.
Пойду за ней. Кто помешает?
— Орфей вы, что ли? — полицейский
почтительнейше вопрошает.

Улица Сарг. Дождь льет на Сарг.
Жуткая, граждане, улица.

Шарманку я свою поставил,
кровь заливает горло дико,
и заиграл рефрен унылый
«Мою отдайте Эвридику».

Хрипи, шарманка, и чихать я
готов на брань и на проклятья.
В любви равны все без изъятья.
Шарманщики с Орфеем — братья.

Улица Сарг. Улица Сарг.
Улица в дождь. Улица вкось.
Улица Сарг. Улица Сарг.
Глядите, какая улица!



ОТЧЕГО НЕ ПОЕТ ОГУРЕЦ

(Из незавершенного цикла «Милосердие»)

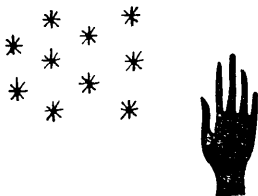
Отчего не поет огурец,
ни один огурец на свете?
Нам подумать пора наконец,
может быть, перед ним мы в ответе.

Если он не поет до сих пор,
никогда — ни зимою, ни летом,
это, видно, судьбы приговор,
у него, значит, голоса нету.

Ну а что, если петь хочет он,
точно жаворонок, спозаранку
и, глухой немотой истомлен,
льет зеленые слезы в банку?

Исчезает весной след зимы,
но за веснами — новые зимы.
Огурец все рыдает, а мы
равнодушные шествуем мимо.

1946



ПИСЬМО С ПУНКТИКОМ

*(В еженедельник «Пшекруй»
от К.-И. Галчинского)*

Гражданин редактор!
Поэзия — из племени ос золотых.
Укусит оса — и пишется стих.
Каждый пишет, как может: так-то,
гражданин редактор.

В Кракове осень. Солнышко блещет.
Всюду персики. Всюду цветы.
Листик под ветром трепещет.
Хожу без забот, погруженный в мечты.
Каждый ходит, как может; так-то,
гражданин редактор.

Бывают несчастья? Да, иногда:
небольшие, словно в небе звезда.
Самое из небольших большое —
то, что жизни я предан всей душою.
Каждый предан, как может; так-то,
гражданин редактор.

Когда же наступит день проклятый
и смерть утопит в черном вине
цветы и музыку, персики и баллады —
все, что было дорого мне,
досадно, но плакать не следует; так-то,
гражданин редактор.

А все-таки жаль земной оболочки.
Да-а-а, кончаю стихи со слезами в глазах.

А вдруг по блату попаду в ангелочки
и буду порхать в небесах?
Каждый порхает, как может; так-то,
гражданин редактор.

1946



НЕБО

1

Проживаю я в мрачном квартале,
Что ни день, там скандал на скандале,
Всюду надписи бранные,
Вечно дворники пьяные,
Потасовки, и горе, и мрак.
Но лишь улица угомонится,
В небе звезды горят, как мониста.

Подхожу я к окошку
И пою понемножку,
И звучит приблизительно так:

Не везде, как на небе, сладко.
Жаль, что редко приходит догадка,
Что совсем не напрасно
Звезды светят так ясно
Для тебя на ночных небесах.
Чтобы мог ты с надеждой проснуться,
Вот для этого звезды смеются,
Вот для этого именно
Что ни ночь с неба синего
Эти звезды на землю глядят.

2

Я вчера поссорилась с Яном,
Янек грохнул со злости стаканом,
Кулаками ударил о стол —
И пошел, и пошел, и пошел,
И честил и стакан, и весь свет.
Видно, скука томит его злая,
Парня за руку тихо взяла я,

Говорю ему: — Лучше
Погляди-ка на тучи,
Погляди-ка в окошко на свет.
Не везде, как на небе, сладко.
Жаль, что редко приходит догадка,
Что совсем не напрасно
Звезды светят так ясно
Над тобою в ночных небесах.
Чтобы мог ты с надеждой проснуться,
Вот для этого звезды смеются,
Вот для этого именно
Что ни ночь с неба синего
Эти звезды на землю глядят.

3

Очень, в сущности, трудно дознаться,
И чего эти люди боятся,
И чего огорчаются,—
Нет причины отчаяться,
Ведь бывали и худшие дни.
Нынче ж день пролетает в работе,
Вот и небо в ночной позолоте!

Ходишь с Польшею об руку
И небесному облаку
Так поешь ты со всеми людьми:

Не везде, как на небе, сладко,
Жаль, что редко приходит догадка,
Что совсем не напрасно
Звезды светят так ясно
Над тобою в ночных небесах.
Чтобы мог ты с надеждой проснуться,
Вот для этого звезды смеются,
Вот для этого именно
Что ни ночь с неба синего
Эти звезды на землю глядят.

1946



ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ

*Наталии, маленькому фонарику
заговоренных дрожек*

1

Allegro

Верить мне — не неволю.
Но лжи здесь нету ни грамма.
Шесть слов — и не боле —
имела та телеграмма:

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

Волосы дыбом встали.
Стукнул зубом от страха.
Сразу вспомнил Бен-Али,
нашего черного мага.
Память моя прекрасна,
помню все, слово в слово:

«...заговорить коляску,
это проще простого.
Нужно кучеру в очи
сверкнуть специальной брошкой —
и он заколдован тотчас,
а также и сами дрожки,
но коня — невозможно...»

Номер набрал осторожно.
— Будьте добры Бен-Али...—
В ответ тяжело вздохнули.
— Мне кажется, заколдовали
лошадь...
— Вас обманули.—

Отбой.

Затрясся, ей-богу.
Едва сдержался от крика.
Ночь. Начало второго.
В дверях почтальон, как пика.

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ?
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК?
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ?

Страшно. Блеск зодиаков.
Спазма горло сжимает.

С крыш серебряных Краков
упавшие звезды снимает.

Листья швыряет ветер
горстями в ночь новолунья.
А может быть, дрожки эти
я заказал накануне?

Может, в парк на гулянье?..
Мысли чтоб прояснились?..
Кучер уснул в ожиданье,
во сне усы удлинились,

и спящего зачаровали
ветер, ночь и Бен-Али.

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

2

Allegro sostenuto

С улицы Венеции к Суконному ряду
Артур и Ронард под белые руки —
меня провожали по спящему граду.
Кружились безумные переулки.
Жутко идти через ночной Краков...

3

Allegretto

Как мерцанье зодиаков,
только порванное в ключья:
НАБИВАНЬЕ ЧУЧЕЛ ночью,
ночью ШВЕДСКИЕ КОРСЕТЫ,
ночью спящие КЛОЗЕТЫ,
ночь в КОНТОРЕ ПОГРЕБАЛЬНОЙ,

ночью ХОР НАЦИОНАЛЬНЫЙ,
ночью СЫР и ночью САХАР,
ночью ДАМСКИЙ ПАРИКМАХЕР,
ночью РЕЛЬСЫ, ночью ТРУПЫ,
ночью СКЕТЧИ сборной ТРУПЫ,
СТЕНОГРАФИЯ кошмаров
с ночью СМЕШАННЫХ ТОВАРОВ,
ночь в КОСТЕЛЕ у окна,
где от жарких свеч невмочь...

Словом,
верные знакомцы:
вечный ветер, вечная ночь.

4

Allegro ma non troppo

Добрался до дома, где трактир «У негров»
(э-эх, жизни не жалко за этот дом!),
как струны рояля, натянуты нервы,
в горле какой-то холодный ком.

Спящую площадь обшарил взглядом.
О, ужас! Рядом с Суконым рядом:

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

Все, что было в той телеграмме,
я увидел своими глазами.
Над башней Марьяцкою свет кружит,
а у коня, представьте, обычные уши!

5

Allegro cantabile

Грива белеет, и хвост белеет,
ветер на гриву белую веет.

Белые дрожки по тракту мчатся.
Девушка в церковь мчится венчаться.

Пар из ноздрей коня вылетает.
Рядом с невестой моряк восседает.

Моряк — прохвост — соблазнил девицу.
Думал: жениться, а после смыться.
Смылся.

Но кит его слопал в море.

Девушка потом умерла от горя,
от одиночества и печали...

Только по смерти, как и вначале,
сила любви — это чудо господне
соединила их...

И сегодня
в дрожках заговоренных мчатся
жених с невестой, чтоб обвенчаться
этой же ночью в капелле бедной.

И там, где Езус лицо склоняет,
руки печальные соединяет
ксендз, похожий на месяц бледный.

Ночь воет. Воркует нежная пара.
Но на рассвете,
клубами пара,
от желтой ограды, во мраке спавшей
возле ворот, с которых свисают
листья барокко и лист опавший,
на веки вечные исчезают

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

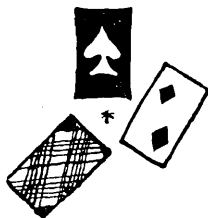
Allegro furioso alla polacca

А в извозчищем трактире,
в самом лучшем месте в мире,
парни потчуют друг дружку,
пиво пьют за кружкой кружку,
и в башку со всех сторон
бьется вальс «Веселый слон».

По тарелке стукнув ложкой,
заявляет пан Оношко:
— Да, машины торжествуют!

Но покуда существуют
в мире тракты и дорожки,
фаэтоны, санки, дрожки,
кони, седла, сбруя, дышло,
небеса, поля и Висла —
в городах больших и малых,
даже в самых захудалых,
будут, хоть невесть какие,
пусть хоть самые плохие

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.



КАФЕ-БАР «ОКЕАН»

1

Окраина Брюсселя.
Харчевня «Океан».
Здесь отдых и веселье
пропойц и шулеров.

Трактирщик — тусклый некто —
как тень торчит за стойкой,
какие-то субъекты
играют в карты бойко:

- Merde ¹.
- Pardon? ²
- Caggeau ³.

На потолке фигурки
амуров и окурки.
Амуры здесь на диво
блестят от позолоты,
один в дыму поник.

Тупые анекдоты,
скабрезные остроты.
Бродяги тянут пиво:
— Merde.
— Pardon?
— Pique ⁴.

Стоит маньяк сутулый
с улыбкой покаянной.
Здесь многих затащило
в пучину «Океана».

¹ Дерьмо (*франц.*).

² Извините, что? (*франц.*)

³ Бубны (*франц.*).

⁴ Пики (*франц.*).

2

Здесь рукопись Моцарта
и динамит в продаже,
торгует Запщиккульский
валютою и даже...

(Живет он с итальянкой,
пять душ детей в придачу.)
Гляди: уселся с негром
за домино, судача.

3

Здесь девочек — о, боже! —
Как звезд в небесной ложе.
Под рокот телефона
глядит трактирщик сонно

на лица их и спины
в табачном сизом дыме,
на лак ногтей карминный
над кружками пивными.

И что-то шепчут ноги,
ресницы, губы, плечи.
Колечки есть у многих,
а есть и без колечек.

Одни — как месяц в туче,
другие — птичьи тени,
как Баха многозвучье,
как виселиц скрипенье.

Одни — как листья сада,
как легкий шум деревьев,
а многие... но рядом:
— Merde.
— Pardon?
— Tréfle¹.

4

Зимой здесь утратишь
остатки прежней веры.
Свистит безмозглый ветер
в проулке Майербера.

¹ Трефы (*франц.*).

Роняя горько слезы,
стих Запцикульский пишет,
воспеть желая розы,
сажает кляксы на нос.

Культура — выше, выше —
над бездной «Океана»
всплывает миной
между
обломками надежды
и над крушеньем вер.
— Ваш ход?
— Простите.
— Соеур¹.

1946

¹ Черви (*франц.*).



ДВЕ ГИТАРЫ

За стеной две гитары
заиграли, запели.
А одна — трень да трень,
а другая — дон-дон,
та запела про Вислу,
а другая — про Волгу,
и похожи гитары,
как ладонь на ладонь.

За стеной две гитары
разом заговорили,
эта славил Вавель,
та вела о Кремле,
та — о красном и белом,
а другая — о красном,
эта пела о Польше,
та — о русской земле.

Эх, распелись гитары,
потекли через бреги
дисканта — про березу,
баритоны — про клен,
что Адам с Александром ¹,
что «Фарис» ² и «Онегин»,
та же самая тайна,
тех же струн перезвон.

Говорили гитары,
а в углу, в колыбели,

¹ Имеются в виду Адам Мицкевич и А. С. Пушкин.

² Известное произведение А. Мицкевича.

спал ребенок, а в печке
огонек подпевал.
Двое в темной беседке
о колечке шептались.
Светлый месяц на небе
тихо носом клевал.

1946



МАЛЕНЬКИЕ КИНОЗАЛЫ

В сильной тоске, в печали
лучше всего укрыться
в маленьком кинозале,
с плюшевым креслом слиться.

Снаружи ветер колышет
листья, и тени кружат,
покрывая афиши
причудливой сетью кружев.

А дальше, блестя глазами,
шнурки, грильяж, папироски
высокими голосами
предлагают подростки.

О! Стемнело. Усталый
месяц вытянул руки.
Маленькие кинозалы
прекрасны в тоске, в разлуке.

Кассирша с прядью волнистой
в будке царит золотистой.
Билет покупаешь иходишь
в сумрак, где фильм поет.

Шумит кинолес блестящий,
пальмовый, настоящий,
и в луче серебряном
дым сигарет снует.

Как славно тут притулиться,
скрыться от непогоды,
с плюшевым креслом слиться
и умолкнуть на годы.

Плещет в сердце бездомном
река в серебристом свете.
Дремлешь в том зале темном
любовным письмом в конверте:

«Ты — как звезда над бором.
Ложусь я в постель пустую.
Где тот мост, на котором
встретимся вновь?

Целую».

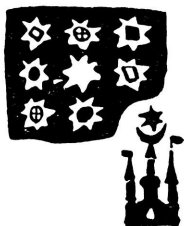
Выходишь грустен, туманен,
заарка- закрашен,
бредешь пустырем и шепчешь:
тут бы и кончить дни,

в кинозалах случайных.
Это — царство печальных.
В них так просто забыться.
Как прекрасны они.

Посвящение:

*Автору «Морских повестей»
Станиславу Марии Салинскому.*

1947



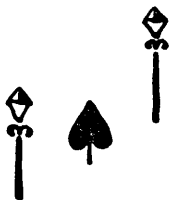
СПЯЩАЯ ДЕВОЧКА

Дочери Кире и Анджею Ставару

Доченька, спи. Ночь приближается мерно
Полным составом нот, тишину дробя.
Если прислушаться, в этой ночи, наверно,
Отыщется что-то и для тебя:

Месяц и улочка, что, забирая правей,
Сворачивает в мирозданье,
И ветер для легких твоих кудрей,
И тень для щеки твоей,
И для сердца — страданье.

1947



ПРОЩАНИЕ С ФОНАРЯМИ

Марьяну — Марьяну Эйле

Вы, терпеливо и бессрочно
горящие среди притихших
проулков городской ночью,
иллюминация для нищих;
вы, на кого в ночи бурной
пропойца среди вихрей снега
глядит, бурча с улыбкой пьяной:
— А может, я попал на небо! —
ПРОЩАЙТЕ, ФОНАРИ МОИ.

И где бы вы ночной порою
ни лили свет однообразно,
в Париже ли, где под луною
влюбился я — и понапрасну,
иль в Лондоне, где свет печалит,
где мгла, как сон, истерик — ветер,
где «фонари тоскою жалят»,
как Т.-С. Эллиот отметил,—
ПРОЩАЙТЕ, ФОНАРИ МОИ.

Вы, неустанные хористы,
вы, распеваящие лампы,
вы, под которыми я трижды
перечитал поэму Данте,
вы, равнодушные подвески,
и вечные, под стать сонетам,
и снисходящие по-женски
к столицам, людям и поэтам,—
ПРОЩАЙТЕ, ФОНАРИ МОИ.

1947



Л И Р И К А

Смерть? Что ж, прошу вас.

Но много бы отдал,
чтоб шляться по улицам ночью,
себе головы не мороча,
мыча «Вальс пятнадцатый» Брамса

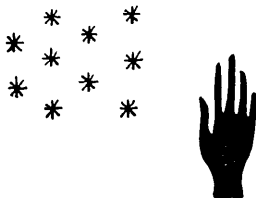
под окнами, где цинерарии
освещаются внутренним светом
и скандируют песню при этом,
цинерарии, как галлюцинации,

которыми (галлюцинациями)
внутренне темный полдень
постепенно становится полон,
когда человек зазевается —

словно нельзя уже было
жить без ломаных линий,
жить приятно и мило,
как многим живется ныне.

А мир уже стал зеленый,
запах свежего хлеба донесся,
и клювом ломают вороны
ветки на новые гнезда.

1948



РЕКВИЕМ?

Заглавие это фальшиво —
мертвые к нам взывают:
«Мы не уснем спокойно,
доколе не кончатся войны.
Доколе не спим в тревоге —
нас Ахерон не примет,
ибо не кончились войны,
пройдено лишь полдороги.

Ночь нам всегда поможет.
Коль месяц ваш мозг затуманит,
из-под земли, как рыбы,
всплываем, ибо нас манит
в дома заплывать, в совесть,
в самую боль, в самый корень;
и смерть шумит высоко,
как лес, как ветер, как море.
Мы с вас одеяло стянем:
что же вы дома сидите!
В глаза вам, братья, плюнем,
если вы нас предадите.
Если вы нас не достойны
и страх допустили в души —
не будете жить спокойно,
мор ваших детей задушит.
Слушайте, европейцы,
слушайте голос Варшавы:
места нет колебаньям,
жизни нет для слабых.
Лавры — смелых венчают.
Битвы за мир — суровы.
Видите — землю качает!
Это — погибших зовы.

Мы, мертвецы, — с вами,
за вас, живые, и с вами
Сталинград и Варшава
светят, как звезды ночами.

Нам не нужно симфоний,
реквиема и кадила,
для этого нынче не время, —
живому отдайте силы.
Скоро весть о счастье
вспыхнет над вашей планетой.
Мертвым — Великий Реквием,
живым — Великий Отдых».

1948



П Е Р Е Д М А В З О Л Е Е М Л Е Н И Н А

Этот день я вижу снова и снова,
я вовек не забуду об этом дне.
На Красной площади — ветер суровый,
на Красной площади — снег.

Помню, закатного солнца сиянье
Мавзолей озаряло тогда.
Грешник, я после долгих блужданий
добрел наконец сюда.

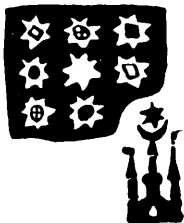
Сколько траурных гимнов, должно быть,
пропето!

И пусть трубы гремят — еще траур глубок
по нем, передвинувшем центр планеты
пролетарскою волею на Восток.

Быть сильным клянусь я над гробом его,
Превращу перо в луч, разгоняющий тени.
Новый век начался. А два слога всего:

Л Е Н И Н.

1948



ТРУБЫ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

Через лес уж сколько раз
вынче почта пронеслась.
Что ж дивиться? Так всегда ведь накануне
рождества
лопаются сосуды маниакального
письмотворчества!
Ясек, что пера и в руки не берет,
настрочил посланий девятьсот.
Пишет Алоизий, и Фуня, и Маня,
разрастается предпраздничная приветомания.

В Кракове на площади Кинги вчера
в днище почтового ящика образовалась
дыра —

столько писем, что прямо невперенос!

Вот и еще один письмовоз —

еще один мостик, еще одна речка,

и почта въезжает в стены местечка.

Снег перед почтой несется, как заяц,

трубы почтовые громко играют:

письма, посылки спешим привезти.

ПРАЗДНИКИ ВЕСЕЛО ВАМ ПРОВЕСТИ!

На почте четыре оконца, и видно

за каждым по девушке, и все миловидны:

— Я, пани, хотел бы с вашего позволения
жене отослать заказное срочное отправленье.

(...и еще сообщаю тебе, Марыся:

канарейки улетели, не прижились,

и золотые рыбки подошли, конечно...

вообще беспорядок ужасный. Целую нежно...)

А вот телеграмма пану Анзельму

о том, чтоб он деньги выкладывал, шельма,

а вот и посылочка: маринад,

дедушка будет, наверное, рад,

ведь для деда приятнее нет ничего,

чем от внука подарочек под рождество,
маринад ведь для деда не вреден нисколько.
Телеграммочка в Щецин, а в Лодзь —

бандеролька,

До свидания, пани! Вы ангел почти!
ПРАЗДНИК ЖЕЛАЮ ВЕСЕЛО ВАМ

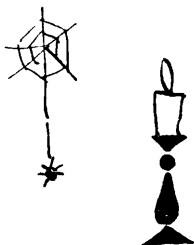
ПРОВЕСТИ!

Поздно вечером и утром рано
почта работает неустанно,
трудятся днем и дежурят всю ночь там.
Почта, друзья мои, почта, почта!
Столбы при дороге, в ельнике провода;
мчатся автомашины, летит телеграмм череда.
В сторону, зайцы! Вороны — с шоссе!
Фелек, газуй! Письма срочные все!
Это — гражданское, это — в армию,
это во Вроцлав, а это вот в Вармию.
Это вот в Щецин, в Щебжешин вот это.
Мчится сияющая эстафета,
так не сверкать и цветам на ветру бы,
как на почтарских шапочках трубы.
Почта! По суше и морю пути!
ПРАЗДНИКИ ВЕСЕЛО ВАМ ПРОВЕСТИ.

Люблю, быть может, восемь лет,
а то и девять — я не знаю.
Все расплылось. Все спуталось. Где ты,
где я —
не знаю, и порой мне мнится,
что ты мой пыл, борьба моя,
а я — твой локон, твои ресницы».

Когда мое сердечко треснет,
вдохните: был, мол, и не воскреснет
такой лунатик непутевый.

МОЕ ПЕРО ШВЫРНИТЕ В ВИСЛУ,
А ПРАХ МОЙ — НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА,
А СЕРДЦЕ — В ЯЩИЧЕК ПОЧТОВЫЙ.



Л Ю В Л Ю

Зыгмунту Мычельскому

Люблю соловьиный посвист,
ночь, когда она майская необычайно,
и небо над ночью смешное, в звездах,
как «Детская симфония» Гайдна.

Но больше люблю снег,
что спит на варшавских крышах,

твое белое платье и белые кораллы —
словом, все, что снежит и дышит.

Но больше всего люблю кукушку на Праге,
что над матушкиной могилой пела,
а проулком пляется месяц во мраке,
где когда-то видывали Шопена.

1949



ДИФИРАМБ В ЧЕСТЬ МИРА

Ты солнце в лютню мою вдохнул,
и не тебе ли
обязан младенец, что тихо заснул
в своей колыбели.

Это в твоих животворных лучах
земля зеленеет,
молодожены мебель влачат,
и всюду теплеет.

Студенты благодаря тебе
зубрят науки,
и так уверены в судьбе
и дед и внуки.

Ты покровитель библиотек,
наук любитель,
но также и старушек всех
ты покровитель.

Ты то, чем каждый день живут, —
талант и труд.
Враги твоих олив листву —
не оборвут.

С тобою будем до конца
мы.
Тебе верны наши сердца,
МИР.

1949



ПЕРЕКЛИЧКА ГОРОДОВ

Послушай, как тебя зовут?

Москва,

А тебя?

Варшава.

Так мы ведь живем, как сестры живут,

Одно у нас дело — и общая слава.

Как там у вас?

Мы строим школы.

А у вас?

В работе веселой
Мы провожаем день за днем,
Социализма солнце несем.
А реки как?
Связали мостами.
Деревья?
Шумят молодыми ветвями.
Наш труд справедливость создаст на земле,
Будут хлеб и цветы на каждом столе.
И пусть наших женщин шелка шелестят.
И лунные ночи влюбленных манят.
И пусть стремительно, как никогда,
Машины и фрукты везут поезда,
Чтоб счастье росло на родимой земле
И в городе каждом, и в каждом селе,
Чтоб мир за окошками всех матерей,
Как дуб на ветру, зашумел веселей
И встал над землею во весь свой рост —
Корни — глубо́ко, вершина — до звезд.
Пусть птицы на нем воспевают простор...
Таков этих двух городов разговор.



ПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Послушайте, звезды, чудесные звезды,
не спешите, постоит немножко,—
и вот, словно сельские музыканты,
стали они под окошком.

Переглянулись, и бровь золотую
одна подняла при этом,—
и заиграли звездную песню
августовским квартетом.

Деревней пахнуло и петухами,
облаком, полем, осокой..
Блеснули высокие польские звезды
нотой самой высокой.

А ночь плыла, и в беспредельной сини
мерцали робко звездные ресницы,
о, шорох ветра в Щецине осеннем —
какое счастье, прислонясь к окну,
в мир этой ночью заново влюбиться...

Сказали звезды: этой ночи лучше
мы не знавали, так она ясна,
над ней плывут серебряные тучи,
и в синем одеянии она,
а искристый и полный мысли взор
ей подарил родных полей простор,

и пляшет для нее зеленоглазый август,
неутомимый, радостный танцор..
Замолкли звезды... Да, все это было!
Ведь звезды в августе — такая новизна.
Серебряная пыль упрямо в стекла била,
струилась ночь за створками окна.

И вдруг раскрыл окно
подувший резко ветер,
и сад зашелестел
листвой уснувших веток...

Так, словно колесо фортуны, по садам
катилась ночь, блестя во тьме дорожек,
но византийский блеск твоих сережек
за все созвездья эти не отдам.
Пусть сон, как облако, закроет до утра
красоты мира за моим окошком,
их бремя непосильно для пера.
Так заслони мне ночь своей ладошкой...

Щ.цин. 1949 г.



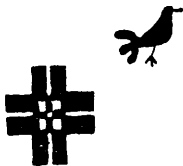
**ЕСЛИ ВЫ У МЕНЯ БЫЛО
ОДИННАДЦАТЬ ШЛЯП**

Если бы у меня было одиннадцать шляп,
Первую, чтоб не пылилась, я бы спрятал в шкаф,

А вторую бы по почте отослал в пакете;
Всяческие безделушки сваливал бы в третью.

Четвертую шляпу употребил бы для
магических фокусов и тому подобного.
Пятой сыр прикрывать и масло было бы удобно.

Дал Ядвиге бы шестую,
А седьмую бы повесил, пусть не треплется
впустую.
Переделал бы восьмую в абажурчик славный,
А в девятой, коль не ежик, тварь другая бы
жила в ней.
Для десятой примененья до сих пор я не
измыслил,
А одиннадцатую ветер пусть сорвет с меня на
Висле,
Потому что одна краковская поэтесса сказала
обо мне такие слова:
«Это голова не для шляпы. Монументальная
голова!»



**ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА**

Все семейство выехало в Гаген.
Я один во всем огромном доме,
меряю шагами галереи.

Мне забавны — отблеск позолоты,
пеликаны те резной работы,
облака, что надо мною реют.

Как люблю я тучи! И хмурый свет в округе.
Словно крепости. Или мои большие фуги.
Хорошо, когда нас оставляют в покое,
когда мы с Музы́кою — двое.
Словно лес осенний горит в шандале злаченом.

Сегодня пасхальный вечер. Звон откликается
звонам.

О, нынче весело сердцу!
В старых шкатулках старые письма,
листья, засушенные когда-то!
Как славно перебирать давнишние думы.
О, праздничный час, серебристые шумы!
Золотые столпы вдохновенья! Кантаты!

В бархат зеленый одет,
шатаюсь по этим залам,
шагами лестницы беспокою.

О, еще до вечера времени пропасть,
чтобы мурлыкать, напевать, чтобы топать,
чтобы течь заколдованной рекою.

Темные, как ночь, портреты приветливы в
залах,
посмотришь издали — они в тенях, как в

покрывалах.

Забавно, что кто-то меня называет «мастер»,
говорят: в кантатах моих я небу диктую законы.

Как жаль, что с моим дроздом они совсем
незнакомы,

ах, что это за дрозд — свистать он великий
мастер!

Я многим обязан ему. И вам, облака и воды.

Тебе, течение реки. Всем полным звукам

Природы.

Гляньте на эти затейливые рисунки,

на эти кресла, где спинка резная,

на эти все золоченые штуки,

на клетки, где поющие попугаи,

на облака, летящие, как феллуки

под ветрами южного края.

Все здесь память, все напоминанье

обо мне, об Иоганне Себастьяне.

Говорят, что я стар. Как древние реки.

Что время из рук моих утекает навеки.



ВАРШАВА

Кочевал я по странам,
по морям, океанам,
всех земель мне милее
по праву

та, что ночью приснится,
тихо тронет ресницы —
и, как в детстве, ты вскрикнешь:
Варшава!

Подмигнут нам, приятель,
звезды на Марьенштате,
лист в аллеях закружится
ржавый,

с Вислы ласковый ветер
пролетит — и навеки
ты пленен красотой
Варшавы.

Вот наш город, — взгляни ты, —
щит в бою не пробитый,
озаренный лучами
и славой.

К ней летят наши мысли,
сердце тянется к Висле,
сердце рвется к тебе —
Варшава!

1950



ОЛЬШТЫНСКАЯ ХРОНИКА ¹

*И вечное светит лето в моем царстве...
(«Сон в летнюю ночь»)*

1

Желтое камыш на озерах,
Явственной каждый шорох —
Пора златоногому лету
В путь отправляться по свету.

¹ Это стихотворение, так же как и многие другие произведения, созданные Галчинским в последние годы жизни, было написано им на Мазурских озерах, в лесной сторожке Пране.

Неужто бессильно слово,
Неужто бессильны рыданья,
И зелень и птиц ты снова
Утащишь в своем чемодане?

Что тебе эта дорога?
Лето, помедли немного!

2

Даже и в вечер ненастный
Над озером все ж прекрасно.
Входит лесничий с лампой.
Сладок свет ее слабый.
От ламп керосиновых в комнатах
Сумерки и сердечность.
А тени рогов оленьих
Тянутся в бесконечность.

Трубы полночи близко.
Затаились звери лесные.
А по небу мчатся тучи,
Как великаны борзые.

Засыпаем,
Прижавшись друг к другу, как дети.
Ночь прояснилась.
Месяц, мурлыкая, светит.

Пчелы спят.
Только плещет о берег
Вода неустанно.
И нам снится охота,
Озера, олени, поляны.

3

Утром солнце, утром теплынь,
Озеро счастьем искрится.
Какая свежесть! Какая синь!
Как тут не веселиться!

Где-то дятел стучит, одинок.
Всплески рыбы у самых ног.

Эх, скорей в этот блеск без края!
Плыть и плыть на берег далекий,
Где смеющийся ветер играет
На зеленых струнах осоки!

А по борам ольштынским
Мы побродили на славу,
А по горам ольштынским
Всё сосняки да дубравы.

Радуга мост воздвигает.
Тропка по круче сбегает.
Птица поет на плече.
Плачет комар в луче.
Днем синева смеется,
Ночью все небо в звездах,
Звезды падают в гнезда,
Звездами полон воздух.

Всех бесед
Камыша и осоки
И всех шепотов
Сосен высоких,
Всех летящих
Листков тополиных,
Всех дрожащих
На солнце пылинок,

Всех шмелей,
Всех цветов и травинок,
Всех зверей,
Всех дорог и тропинок,

Всей росы,
Всех кустов краснотала,—
Дорогая,
Мне этого мало.

Я б хотел еще больше деревьев,
Полных птичьими голосами,
Больше волн, облаков, созвездий
И туманов к ясной погоде,
И, обняв это всё руками
И коснувшись всего устами,
Так уйти, как солнце уходит.

6

Ты — мое озеро дивное,
Я — твое солнце счастливое,
Светом тебя одену я,
Счастье мое шумливое.

В водах твоих купаюсь.
Ухожу. Возвращаюсь.

Кудри мои перемешаны
С твоим камышом беспечно.
О мое озеро нежное,
Ты, как мир, бесконечно!

А ночью, с небес слетая,
Кружатся звездные стаи
И в волосы твои темные
Садятся, как попугаи.

7

День уходит стезями закатными,
Месяц повис над березкой.
Видишь?
Катится ночь, как повозка
С сельскими музыкантами.

Совы на лбах лошадиных сидят.
Кнут колышется. Лошади мчат.

Эй, смычок,
Тишины наваждение
В этих залах лесных разори!
Будут здесь кабаны да олени
Танцевать до самой зари.

8

Из всех женщин мира
Прекраснейшая — ночь.

9

Она выступает властно
Под сводом небес огромным;
И все у нее прекрасно,
А пахнет от нее кардамоном.

С гор все ниже сходит в долины,
А взор у нее орлиный,
А ходит походкой ровной.

Шепчет она о своем, о вечном.
Нет конца коридорам Млечным,
Нет предела ночи любовной.

Она разлилась широко,
Звучная и большая,
Рога серебра коровам,
Дранку крыш озаряя,
В детские сны бросая
Яблоки райского сада,
Кружит в лугах, босая,
Пляскам и песням рада,
В окна смычком стучится,
На озеро зазывая,
Чтоб плавал, и веселился,
И пел, на скрипке играя.

А на опушке щебечут птицы,
А в просветах золотая пыль клубится,
Там летит колесница Феба.

Босиком бреду по болотцу.
Зелень шепчется. Свет смеется.
Словно мать, зовет меня небо.

12

Я понял, когда через бор проходил:
В нем что-то есть трагедийно мужское.
Когда же в лиственный лес я вступил,
То словно свирель и смех уловил —
Как будто я в женских уютных покаях.

13

Тут о стольком надо рассказать бы —
Никаких, пожалуй, слов не хватит:
О грибах, о журавлиной свадьбе,
О лугах в зеленом бальном платье,
О ручьином с переливом перезвонце,
О грацином сиротливом грае
И о том, какие штуки солнце
Учиняет, красками играя.

Входишь в лес, а лето входит в осень,—
Восемьдесят лет тебе иль восемь?
Смотришь в этот лес как будто в сказку,
Трешь глаза в чудесном ослепленьи,
Лес тебе дарует исцеленье,
Мох кладет на сердце как повязку.

Когда солнце блеснет
 Предзакатным сияньем,
 Ты выходишь из вод
 Золотым изваяньем.

Словно дева Гомера —
 Хороша и бессмертна.

Шаг твой сумерек тише.
 От прохлады дрожишь ты,
 Как тростник или струны.

Месяц припоминает:
 — Да, была там такая —
 В группе статуй на гданьском фонтане
 Нептуна.

Собаки над озером лают,
 Может быть, выдру поймают.
 Я пишу стихи на песке,
 В месяц перо макая.

Эх, расшумелся дождь!
Травам и листьям — радость.
Счастливый, счастливый дождь,
Может падать и падать!

Яблоки, точно младенцы,
Дивятся, как листья никнут.
Подбрось-ка в камин поленце
И дай мне хорошую книгу.

Там, от озера к югу,
Гром далекий грэхочет,
Дождь по мокрому лугу,
Как солдаты, топочет.

Никнут листья тяжелые.
Дятел спрятался где-то.
И валяются желуди,
Ливнем сбитые с веток.

С ульев вода стекает.
Пахнет порой осенней.
Гей, дождь по полям гуляет,
Нет у него огорчений!

Вымокли бороды елок.
Гром громыхает бодро.
Век ненастья недолог:
Завтра опять вёдро!

Завтра снова мы станем
В дали далекие плавать,
К новой роще пристанем,
Откроем новую заводь.

Новых рыб отыщем в озерах,
Звезды новые в небе поймаем,
Поплывем далёко, далёко —
Что там скрыто за самым краем?

Новых птиц и зверей откроем,
Земли новые, новые воды
И услышим, как бьется большое
Зеленое сердце природы.

20

Будь я ткач, на твои именины
Я бы выткал такую холстину:

Чтоб там озеро было пошире,
А над озером звезды большие,
А по берегу заросли ивы,

А на ивах лесные пичуги,
А в заливах зубастые щуки,
Месяц, ночь и тростник болтливый.

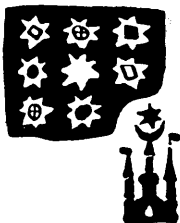
21

Солнце склоняется долу.
Прохладу струит поднебесье.
Запалим мы костер веселый,
Запоем веселые песни.

Искорки песен кружат
И, звездных высот достигая,
Светятся тысячелетья.

Первая песня о дружбе.
О верности долгу — другая.
И об отчизне — третья.

Лесная сторожка Пране, 1950 г.



ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ

Она впервые назвала мне месяц,
На елках первый снег
И первый дождь.

Я был не больше ракушки морской,
А платье черное на ней,
Как море Черное, шумело.

Ночь.

Где-то ноет комар упрямо.
Фитилек чадит, догорая.
Может, эти вот звезды в небе
Это ты, это ты, родная?

Иль на озере — белый парус?
Иль волна на пологом пляже?
Может, ты этой звездной пылью
Мне осыпала лист бумажный?

Может, ты — гудящие пчелки
В золотом августовском зале?
В камышах я нашел заколку
Для волос. Она не твоя ли?

Раскидали дряхлые ветви
Ольхи черные на трясине.
Рассвистелся на дудке ветер,
Сдунул звездочки в небе синем.

Пробежала серая мышка.
Филин прянул из-за перелесиц.
Ветер стих. И вышел неслышно
С трубочкой в зубах круглый месяц.

И теперь рассиялись надолго
Тучи, дупла, желуди, пущи,
Словно мир стал серебряной елкой,
Серебристой юлой поющей.

*

Лист дрожать начинает,
Птицы в тон подпевают,
Над лесами светает,
В сердце снег уже тает.

Листьям — жить и увянуть,
Птицам — петь и умолкнуть,
Солнцу — встать и сокрыться,
Сердцу — звезды и скрипка.

*

Словно свечек елочных коробка
Под руку в буфете подвернется,
Вдруг придет воспоминанье робко,
Тронет сердце — сердце встрепенется.

Мама покупала их когда-то.
Спят они. В них чудо сном объято.

Распакуй те свечки и зажги их
И гляди, покуда взор привыкнет.
Ты черты увидишь дорогие.

Мать поднимет руку. Ветер сникнет.
Поцелуй ей волосы и руки
И рассыпь сугробы в переулке,
Чтоб хрустела, искрилась округа.

Спрячь мерцающие огонечки
В чемодан. И вновь достань их ночью,
Если вдруг в дороге станет туго.

*

Лето. Лес. Между елями сумрак клубится.
Заячья капуста. Шалфей.
Небо тучи сдувает. Щурится птица.
В травах — жужжанье шмелей.

Вьются белые бабочки клочьями писем.
Море света.
А вдали, вдалеке за холмами, за мысом,
Тоже лето.

Зверь продирается в трясине,
Где лось, рогатый, как лесина,
Так бьет, колотит, барабанит,
Что звезды сыплются с берез.

Где осень — старенькая скрипка,
Беспомощная, словно птичка,
Зима — твоя спина, а лето,
Как золотая рукавичка.
Ее в саду оставил Ян,
Ян Кохановский ¹, тот, что может
Ударить ложкой — и встревожит,
И сразу запоет полмира,
И перья туч взлетят в простор,
Завоет волк, застонет бор,
Как бас Гомера и Шекспира.
Из лунных голубых озер
Всплывет дельфин, за ним — осетр,
И будут слушать листьев шепот.
А там — копытец козых топот.

¹ Ян Кохановский (1530—1584) — польский поэт эпохи Возрождения, признанный «отцом польской поэзии».

И дым душистый над костром —
Уха дымится разварная.
Про это Ян писал. И в нем
Моя записка коренная.
И все — все музы, и прибор
Бемолей, ритмов, рифм, и гром,
И месяц, бледный братец мой,
Что в телеграфных проводах
Запутывается порой...
Башмак оставил... Сам он светлый,
А мыслей нет в его башке.
Шнурок его длиннющей петлей
Запутался в моей строке.

Лесная сторожка Прани, 1950 г.



ЛИРИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

— Как любишь ты меня? Ответь!

— Отвечу.

— Ну как?

— Люблю тебя, когда мерцают свечи.

И в солнечных лучах. И в шляпе. И в берете.

В театре. И в пути, когда навстречу ветер.

В малиннике, в тени березок и сосенок.

Когда работаешь, когда вздохнешь спросонок.

Когда яичко разбиваешь ловко
И если падает при этом ложка.
В такси. В автобусе. Пешком. В повозке.
На ближнем и на дальнем перекрестке.
Когда причесываешься. И в час веселья.
И в миг тревоги. И на карусели.
В горах. И в море. В ботах. Босиком.
Вчера. Сегодня. Завтра. Ночью. Днем.
Весной, когда летит к нам ласточка с приветом.
— А летом любишь как?
— Люблю, как сущность лета.
— А осенью, когда все в тучах, все уныло?
— И даже если зонтик ты забыла.
— Ну, а когда зима оденет окна в иней?
— Люблю, как пляску пламени в камине.
У сердца твоего согреться я могу.
А за окном снега. Вороны на снегу.

Лесная сторожка Пране, 1950 г.



ВИТ СТВОШ

- 1. Ночная пора**
- 2. Польские терцины**
- 3. Работа**
- 4. Моление**
- 5. Мастер любил улицу**
- 6. Молитва мастера**
- 7. Комментарий прозой**
- 8. Песенка о Вите Ствоше**
- 9. Финал**
- 10. Приписка**

1. Ночная пора

Скоро крикнет первый кочет,
каганец едва лопочет.

Тень над головою Вита
скальным папортом повита.

Ветр по улице шибает,
чуть балясы не спибают.

Он на Вавель снегу валит.
Человека страхом жалит.

В небе висельником — месяц,
Вот ударят к ранней мессе,

разнесется звон по далям:
вседержителя восхвалим

благовестом, инструментом
Deum Omnipotentem ¹.

Дурачок по Гродской скачет,
по вороньему судачит,

со звездой заводит шапни,
вот его поймают стражники.

От Марьяцкой башни боком
черт спешит в снегу глубоком

и на месяц громоздится.
За углом стоит убийца.

¹ Бога всемогущего (*лат.*).

У трактира — забулдыга,
в головах — бутылка,

то ли пьяный, то ль убитый,
рядом с ним фонарь разбитый.

Снег несется крылато
над Краковом на рассвете.
Темно у короля и прелата.
Темно на всем белом свете.

Тяжкий час перед зарею,
мукой сердце томит.
А в окне за снежной мглюю —
мастер Вит.

Что за ночь!
Какая-то печаль
плывет на гребне ночи из затонов,
сквозь тучи наподобие готических фиал,
пинаклей, острых арок и флеронов!
Месяц гонит вихри снеговые.
Мгла в очах моих. Исус-Мария!

Может, здесь и поникну, подобно былью,
всей кровью и плотью войду в эти лики
и раззлачу, распою мою Библию,
мою Библию из дерева липы.
И величью фигур, их движенью
я привью свое сердце и разум мудрый.

О, жизнь моя, о, мое служенье,
челночек утлый.

2. Польские терцины

Не расскажет скрипка,
не расскажет флейта
то, что в сердце скрыто:

могут ли жалейка,
и орган, и лютия
спеть про человека?

Розы, что цветут на
стебельке шандала,
вырастают трудно.

Сам Давид, бывало,
чувствовал, что крылий
псалму не хватало,

и хотел Вергилий
бросить манускрипты
в пламя — от бессилья.

Как трудны попытки
прелесть трав зеленых
выразить на скрипке!

И порою в красных
полевых гвоздиках
больше совершенства,

чем в фанфарных кликах,
чем в любой капелле,
славящей великих.

Ну а в нашем деле
лишь столяр и плотник
смыслят в полной мере.

И для них я резал
образы, что выше,
чем король и кесарь.

Им, простолюдинам,
тропкой нелюдимой
не плутать в болотце.

Музыку им слышно:
что резцом не вышло,
сердцем допоется.

Будь благословенным,
свет запечатленный,
свет первоначальный,—

в тебе моя нота,
надежда, забота:
мой труд достохвальный.

3. Работ а

Распевали столяры за работой,
в саду над рекой распевали,
а как в сумерках кончали работу,
соловьи распевать начинали.

Наступала пора жасмина,
время света, пора кукушки,
в Висле Краков был опрокинут
золоченой детской игрушкой.

Время было жарким, зеленым,
не страшились папского гнева
и звенели, звенели звоны,
приглашая бедных на небо.

А как ночь бледнела над лесом,
в ту надбрежную мастерскую
снова мастер входил и резал
руки, души, и плоть людскую,

и рубахи резал, и шубы,
вифлеемские дива и чуда,
и Марии нежные губы,
и кривые губы Иуды;

золотые звездочки метил,
ниже — яблочки круглолики,
сам дивился: о, сколь он светел,
тот брусок из дерева липы!

Заплетал цветы и узоры,
резал ландыши тонкой работы,
возносил апостолов взоры,
чтоб глядели, как на самолеты.

Все высвечивал златом (бывало,
стащат золото корыстолюбы),
так златил, что страхом шибало
нечисть, замки, бургундские дубы.

Палачей, замученных грыжей
он точил из липы скрипичной,
словно видывал где-то в Париже
сброд вийоновский — вышло отлично!

Словно были вокруг — василиски,
брег стигиский, хор вурдалаков,
словно сумрак ночи парижской
видел в окнах полдневный Краков.

Торопился. Ессеево¹ древо
надо выточить. Анну с Яхимом².
Царь арапский не сделан слева
и та книга под балдахинном.

Этот царь меня заморочит,
я ведь сроду не видывал мавра,
а фигуры! (Эх, древоточец!)
Сколько ангелов слева и справа!

¹ Е с с е — в славянской мифологии — бог природы, живущий на деревьях.

² А н н а и Я х и м (Иоаким) — в Евангелии — родители девы Марии.

И чтоб все это было взвихрено ветром,
как темный бор, когда буря свищет.
А насчет ангелочков, каким-то фертм
сказано, что один из них лишний.

И такая пошла по городу байка,
что с крылечка мастера Вита
вылетает с лютнями стайка
херувимов дивного вида,

и что Вита лоб, как факел божий,
светится в туге нечеловечьей,
и что даже некий прохожий
меж его фигур увековечен.

Создал многое, мог любое.
Но не вырезал грубой, лукавой,
блудодейки с горластой трубою —
своей преходящей славы.

4. Моление

Петер Брейгель! Джотто! Данте! Сердце
Ван Эйка!

Звездный четверолистник, прими
Пятым листиком скромное имя
Вита Ствоша, простого человека.

Вот оно, все его богатство:
Деревянный конь, пес рыжий,
Травка ласточкина, птичье братство,
Сойка, совка и мартышка на фризе.

Пусть сова, эта птица Паллады,
За него замолвит слово птичье.
Он ведь так ее вырезал ладно
В песнодреве, в дереве скрипичном;

Пусть еще попросит и сойка,
Чтобы мастера к вам сопричислить,
В «Преисподней» вон та сосенка,
В «Благовещенье» — этот листик.

Да и звездочки с небосклона,
Вы замолвьте за мастера слово,
Чтоб принять его пришла охота
Эйку, Данте, Брейгелю и Джотто.

С о в а г о в о р и т

Я мудрейшая птица, я пророчу
И очами свечу среди ночи,
Вопрошаю с ветки: нельзя ли,
Чтоб к себе вы мастера взяли?

**5. Мастер
любил улицу**

На меня, старушку-
попрошайку, глянул,
и на нас, игрушки,
и на нас, на жбаны;

поболтал со мною,
с каменным павлином,
птицею резною
с ограды старинной;

за оконцем этим
повернул направо
и меня, букетик,
потрепал лукаво.

Потом пошел дальше,
вон за той косою,
уронил тот ландыш
под тою консолью.

А я, конь, с разбега
мог сбить ненароком,
а там стоит небо
в пламени широком.

Пожар нынче пятый,
есть где поднабраться,
спешат босопяты,
бегут голодранцы,

инвалиды, старцы,
игроки, придурки.
А пожар разметался,
мечет искры в проулки.

Гаснет. Темень ложится.
На дворе хруст морозца.
А улица мчится,
улица вьется.

Та на холм удирает.
Та внизу остается.
Короли помирают.
А улица вьется.

Рань уходит дневная.
В небе месяц смеется.
И все, как шальная,
улица вьется.

Через площади, рынки
быстро, быстро — к разлуке,
сквозь кривые ухмылки,
сквозь вздетые руки.

По весне смерть стучится,
рыбка — по заговленьею.
Ну а после — ослица
в вербное воскресенье.

А та улочка в горку
уходит все выше.
Лютня спела и смолкла.
Из-за туч солнце вышло.

Осень листьями крыта.
Звон струны еле слышен.
Поглядите на Вита —
он к нам ближе и ближе.

6. Молитва мастера

«Не затем я пришел сюда, в самом деле,
Чтобы бражничать с шушерой базарной,
А на труд тяжкий. Тяну его еле.
И вот печать моя — ковчег алтарный.

Что предписали паны из рады,
То я исполнил, до слова.
Небо? Об этом лучше не надо.
Во мне мало неба, больше земного.

Это все для господ — на небе банкеты.
У меня совсем иной поров».

(Ствош сегодня бы резал портреты
Шоферов и монтеров.)

«Отдал, что мог. Ничего не добавлю.
Finis coronat opus¹. Верстак на покое.
И я алтарем не ангелов славлю,
А город, улицу, племя людское.

Теперь — в Нюрнберг. Дорогою длинной.
Сапог прохудился. Сам обовшивел.
Но иду. Туда, где горизонт, как пузырь
ослиный,
Набух ширью».

¹ Конец венчает дело (*лат.*).

7. Комментарий прозой

Июля 25 дня, на Якуба, алтарь справлял седьмую годовщину своего рождения. Шел год 1496, девятнадцатая счастливая и последняя дождливая осень Ствоша в Кракове.

Уже за городскими воротами догнал его столляр (Ласло Владислав), вручил ему на дорогу кошелку житной муки и поцеловал ему руку.

На пути была слякоть и темень.

8. Песенка о Вите Ствоше

И не ведала матушка,
как пришлось разродиться,
что над деревом будет
ее чадо трудиться.

Ой, сынок, воеет буря,
как тебя сберегу я?

Не гадала, не знала,
что придется проститься,
что создаст он из древа
человека и птицу.

Ой, сынок, воеет буря,
как тебя сберегу я?

И ушел ее парень
за звездой замигавшей,
а в дороге мерцали
только реки и башни.

Ой, сынок, воеет буря,
как тебя сберегу я?

Часто сетовал: — Тяжко!
Всем небось так живетя.
Только было бы древо
и для древа — долотца.

Ой, сынок, воеет буря,
как тебя сберегу я?

Мог он выточить быстро
из простого обрубка
и сову для магистра,
и влюбленным — голубку.

Ой, сынок, воев буря,
Как тебя сберегу я?

Ветер стонет, сыночек,
на дороге — убийцы.
Не ходи через реку
по глубокой водице.

Дивных замыслов ради
укрепи меня, мати.

Не в беде ль ты, сыночек?
Поздно лампочка светит.
Конь по улице скачет,
глянь, тебя переедет.

Мати, мати родная,
сотворю и коня я.

В «Благовещенье» златом
каждый лик изукрашен,
эти стены зубчатые
и высокие башни.

Ой, сынок, воеет буря,
как тебя сберегу я?

Видишь. Это Мария.
Иоанн — как он светел!
Ветер взвихрил одежды,
я ведь выстругал ветер.

Дует ветер. Померкло.
Что тебе в Нюренберге?

Но пошел. Грязь месил он.
Пел, Давиду подобно.
Польшей жил. Все, что было,
все он родине отдал.

Его сердце взял Краков,
словно яблоко с ветки.
И, никем не оплакан,
он пропал в Нюренберге.

Ой, сынок...

9. Ф и н а л

Труд породил красоту: воды, звезды и фрески,
гордый купол, сонет, арки мостов и храмов,
Фидий резцом воплотил в пентеликонский
гневных коней на фризе в процессии
панафинейской. мрамор

И Манифест коммунистов открыл впервые на
свете
суть и мудрость труда, и честь его, и высоты.
Так зачиналось время. Наши большие работы
провидел и осветил тот, кто почил в Хайгете.
Наше время пою: цехов прозрачные призмы,
откуда льются стихи под звуки аккордеонов

блеском на континенты, ширью для миллионов;
пою жасмин и любовь в городе социализма.

Аэродромы пою — краковский и вроцлавский,
варшавский аэродром, пою пространство и
солнце,
взмывающие крыла, просторные горизонты,
и самолеты — московский, бухарестский и
пражский;

и острые взоры пилотов, и бег облаков
жемчужных,
и ветер, что вдруг сорвется, и дерево, что
качнется,
пою, и взываю круче, в тучи, и мне поется
о родине и о мире, о юности и о дружбе.

Голубекрылый мир, тебе эти аэродромы,
тебе — уголь и стих, кантаты и самолеты;
к тебе творение Ствоша в тучах и позолоте
нисходит на улицы наши, полные блеска и грома.

Пою искусство резьбы. Высокое многоголосье
и нежную мудрость ваянья. А стих пусть идет
за вами,

как багрянолистая осень с взволнованными
облаками,
как горная и морская, с фоготом и с флейтой
осень.

Вот он, высокий час, вот пора урожая
на гавани и на трубы, на наши простые песни;
глянь: кочует кино по каждой дороге сельской.
Трактор тянет обоз. Желуди дуб роняет.

Век вступает в свой полдень. Все шире и ярче
блещет:
так светит гармония дней — машины и человека.
День факел вручает дню. И люди нашего века
в природу врезают себя, как дерево режет резчик.

Вот опять, после ночи, день очнулся веселый,
солнце на стол мой всходит, льется свет, как
лавина.
Шире окно распахнуть, шире плечи раздвинуть.
Глянь: дозревает плод. Дети спешат в школу.

10. Приписка

Дом на взгорье. Десятиконный.
На окне — герани куст зеленый.

Дом кирпичный, солнцем обогретый
и румяный, как бочок ранета.

Кустики герани встали рядом.
Все увито диким виноградом.

Повилика. Пчел гудит община.
Бор на горке. Озеро в лощине.

Вечер. Освещение скупое.
Звездный ковш сияет над трубою,

а за ним летят из темных далей
звезд фонарики. Как планетарий.

И пространство в сумраке глубоком,
то, что видно из открытых окон,

распевает вместе с тишиною
высоко настроенной струною:

образ туч и волн и шорох чащи,
горизонт, стремительно летящий.

ночь июня, отзвуки и трели —
отдаются в окнах, как в капелле.

(Так выглядел дом, где написана эта
поэма.)

Лесная сторожка Пране, 1951 г.



НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Шляпы. Шляпы больших и малых
Номеров. Битый час примерял их:
Ни одна не пришлась мне впору.

— Где же средние номера-то?
Вот для нас? Для нашего брата? —
С продавщицей затеял ссору!

Кто там повторяет в очереди
Моцартовы созвучья?
Серебряные очи у него,
А чуб у него как туча.

Недурно поет, пожалуй;
Должно быть, он нынче в духе...
К прилавку все ближе — шалый
Чудак серебристоухий.

Он радостно напевает,
И что необыкновенно —
Голова его то разбухает,
То съеживается мгновенно.

Поэтому столь отменно
Все фетры и все велюры
Приспосабливаются к переменам
Объема его шевелюры!

Ну, а покупатели прочие,
Голоса понижая, спорят:
Дознаться желает очередь,
Что за фантасмагория?!

И чем это он? Электричеством?
Уколами?! Черта с два!
А он: — У меня ж эластичная,
Безразмерная голова!

Порой она больше тыквы
И в форточку не пролезет,
Порой она меньше дыньки
И тоньше бритвенных лезвий.

— Я могу в пределах недели
Ее увеличить раз в десять...
— Да кто же вы, в самом деле?!
— Месяц!

1951



ОБМАНЧИВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В одно прекрасное утро
(сравнимое только со скрипкой?!)
я отправился на прогулку,
сияя блаженной улыбкой.

В беседках (день был воскресный)
наяривали оркестры.

Но что меня изумило
и даже, признаться, встревожило,

это — что очень мило
мне улыбались прохожие.

Буквально каждый гуляющий
лучился улыбкой сияющей!

Вот, думаю, в самом деле,
что же это? Популярность!
Всенародная популярность!
Популярность в широких массах!

Неужели мои сочиненья
и впрямь облетели свет?
О, небо! О, наслажденье!
О, радость! Ликуй, поэт!

А может, уже — крылато,
по радио — всем, всем, всем:
«Приветствуем лауреата,
творца бесподобных поэм»?!

Уже мои свежие лавры
пышной вековых баобабов...
В груди громяют литавры:
триумф исполинских масштабов!

Прохожего огорошил вопросом жадным.
А тот, поглядев косо,
ответил: «Вы из дому вышли с громадным
чернильным пятном на кончике носа».

1951



СЕДЬМОЕ НЕБО

Из стихов для Наталии

1

Я рванулся в звездопад зазимка,
из автобуса; припал к твоим ладоням,
и твоих волос вечерних дымка
обдала блаженным благовоньем.

Месяц, у дверей блеснув на счастье,
заплутал в ветвах, пропал — как не был.
Ночь замкнула перстень свой, и настужь
нам открылось седьмое небо.

2

Поздний час, и ночь пустынна,
но в окне твоём спокойном
свет ещё горит: — Впусти нас!
Хмуроглазая, открой нам!

Мы на крыше спать не станем.
Дверь открой для доброй встречи.
У тебя спят блистаньем
инструменты, птицы, свечи.

Ветром, вальсом, шумным роем
мы влетим; гитарным звоном
каждый локон твой омоем,
словно золотом червонным.

Это было в какой-то столице,
в Голландии, в Бельгии, что ли..
Меркли звезды — тускнели громницы
и ветер гудел, словно в поле.

Рассыпал осенние трели
аккордеон золотистый,
и над крышами скрипки летели,
кларнеты, фаготы и листья.

Помнишь ливень, что плыл по бульварам,
миг свиданья — шальной, накаленный,
и киношку в предместье старом,
где звалась кассирша Симоной?

Каждый вечер, в сумраке странном,
каждый вечер, дрожа перед встречей,
по бульварам, с красным тюльпаном,
я бежал к тебе, как сумасшедший.

Очень ярко в «Олимпии» тесной,
и сеансы веселы эти,

а цветок — для самой прелестной,
для тебя, для лучшей на свете!

Я глотнул бы смертного яду,
лишь бы ты обняла меня страстно,
но меня вышибали в награду
за признанья во время сеанса.

Но свершилось великое чудо,
хоть исторгнуть не мог даже стона,—
и однажды ночью оттуда
ты пошла со мной — не Симона.

Мы сплели наши пальцы несмело,
просияли взорами оба
и сквозь мир, от войн ошалелый,
шли, как двое детей, бок о бок.

4

Ты — прекраснейший звереныш; сини
волосы твои рассветной ранью.
Ты — высокий фонарь на баркентине,
и молюсь я твоему дыханью.

Я тебе все инструменты создал,
все цветы принес, плоды земные,
за тобой все небеса и звезды
обошел я — все миры иные.

5

Зазвенели серьги красной меди,
византийским грянули трезвоном.
За окном, над Францией забредил
снег метельный — над Греноблем сонным.

На твой лоб, на ногти уронила
огненные перья птичья стая.
Вдруг погасли птицы. Все затмила
страсть, как туча темно-золотая.



САНИ

Ночь на басовой струне.
Месяц — высоким сопрано
в тучах над скрытыми снегом полями.
Стужа. Зима.
Где там зима,
если поет соловьями!

Темный ветер просквозил дороги.
В тучах месяц заблестел двурогий,
в щели тьмы лесной проник до дна.

Путь во мраке, в лунных бликах чащи.
Трех бубенчиков напев звенящий
повторяет чьи-то имена...

Серебристый заяц пересек проселок.
Серебристый луч на филина упал.
Снег пошел и сразу перестал,
дремлет снег на елках и меж елок.

Это не филин —
месяц двурогий.
Снег обессилен,
спит на дороге.
Видишь — мерцанье,
блеск на сне.
Едут сани.
Дремлет снег.
Лес да лес,
блеск да темень,
и яблоком на ладони
время.

Лицо. И глаза, что погаснут с моими. Это
моя рука. Это твоя. И звон бубенцов.

Разлука — тьма. Лицо — светлее света.
Твое лицо.

Твое лицо. Из слез серебряных весь
трехзвучный звон о дальнем, о безутешном.
Твое лицо. Лицо твое здесь, —
сияет солнышком вешним.

Три имени. Звон трехзвучный в тиши мороза.
И вот уже виден дом, ворота, крыльцо.
Ель отряхнула снег на веселые слезы.
Солнышком вешним светит твое лицо.



Месяц обнаружил все дороги —
мрак морозный в голубом огне.
Наши сани окружает стужа.
Время огоньку блеснуть в окне.

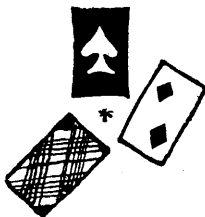
Едут сани, тень ползет по снегу:
шапка, и оглобли, и супонь.
Снег искрится. Перебор трехзвучный,
как звонарь, вызванивает конь.

Напишу чернилами из сердца,
веткой на снегу пустых полей,
греческим и римским алфавитом
напишу: ты солнышка светлей.

Лютиками напишу весной,
летом — облаками в вышине.
Как прочтут написанное птицы —
раззвонят в беспечной болтовне,

занесут, быть может, в век иной,
и в сердца иные, и, нежданно,
в чью-то ночь с басовою струной,
в месяц, в месяц — звонкий, как сопрано.

1951



М Е С Я Ц

По окружности, пустыней синей,
я лечу в светящейся машине.

К линиям, к поверхностям капризным,
прикасаюсь этим механизмом.

Оттого серебряные тени
по земле мелькают в быстрой смене.

Мощь моей пружины вещи движет,
воскрешая так, что искры брызжут,

краски, формы и объемы тронув,
ночь преобразует в море звонов.

Лишь мое свечение возникнет —
ветры не дохнут, сова не крикнет.

Клонятся мосты. Смычки как будто
отрастают. Мостовые круто

горбятся, а плющ по всем верандам
глеет, извивается меандром.

Каждый луч, упав на балюстраду,
складывается в свою шараду.

Если ж луч иной во мраке тает —
и шарада в темень улетает,

вывысь, где вольная архитектура,
мчится в тучах без цыфири хмурой.

Контуры вещей со дна ночного
тысячами выплывают снова.

Острыми, как ножницы, лучами
месяц расправляется с вещами.

Камень вдруг становится тромбоном,
а тромбон — фонариком зажженным,

чьей-то маской и любую прочей
бутафорской формой лунной ночи:

яблоком, пенсне, шандалом скромным,
темным ветром на проселке темном...

Площадь — под запретом для прохожих,
лестницы сместились, окна — тоже.

Жители — ключи, а дышла кони
потеряли. Все звонки трезвонят,

и стремглав летит на перекресток
филармония звучащих блесток.

Вот теперь я вездесущим буду!
Вплоть до мозговых извилин, всюду

проскользну: в пригорки, в звуки, в реки,
в краски, в мальвы, что цветут вовеки,

в птичьи очи, в женские, в собачьи,
в свечи и в шандалы свет запрячу,
в дикий виноград, обвивший стену,
в искушение и в перемену,
в трепет прихотливых узорочий,—
всем вам прошепчу: — Спокойной ночи!

Кто я? Блеск мгновенный, ответ скользкий.
С вами распрощаюсь я по-польски.

Мир вещей — простой, печальный, ясный,—
доброй ночи! Я сейчас погасну.

Свет мой, словно песня, канет в бездну.
Я вам луч оставлю. Сам — исчезну.

Вам на память я пока, вначале,
дам концерт последний в этом зале.

Прямо с неба, сквозь окно нагряну,
высеребрюсь, пред пюпитром стану.

Я исполню, взяв смычок мой зыбкий,
под сурдинку, на бессмертной скрипке,
все четыре вальса из балета.

Это лишь кружение и витанье,
только расцветанье, отцветанье,
осени, зимы, весны и лета:

снег и степь, созревший плод, желанья,
звезд прозванья, тени без названья,
зелень женственная, ветер в дюнах,

смута в сердце и звезда над елью,—
все кружит огромной каруселью,
и сверкают спицы в искрах лунных.

Вот каков ночной мой труд суровый,
очень сложный и отнюдь не новый.

Глянь! — круглоголовый, в раме средней,
Я тебе даю концерт последний.

За окном торчу я, как влюбленный,
я тебе свечу в ночи зеленой.

На тебя серебряные брызги
сыплю, путаю твои записки,

и тебе сентябрьской ночью снится,
что сквозь ветви светлый дождь струится,

и твои глаза в прозрачной ночи —
как две радости, два огонечка.

Разных светов щедрый раздаватель,
наклоняюсь я к твоей кровати.

Рассиявшись, я на одеяле
вышиваю ноты для рояля,

звезды, звезды, — без конца и края,
башни, облака и птичьи стаи.

Длится ночь. Тебе так сладко спится,
и лицо во мраке серебрится.

Нет, меня оплакивать не надо.
Я к тебе вернусь, моя отрада!

Если луч скользнет сквозь окна в очи,
это я. Твой месяц. Сердце ночи.



В ЛЕСНОЙ СТОРОЖКЕ

Здесь, где в едином хоре
звезды готовы слиться,
домик стоит на взгорье
с крышей из черепицы.
Это сторожка Пране —
с летней порой прощанье.

Хмель на рогах оленьих
высохший цвет осыпал.
В окнах вечер осенний,
а в вечере столько скрипок,

а в скрипках, чуть только трону,
жалоба вторит стону.

В окнах — говор сосновый.
В окнах — сосновые лапы.
Снова вечер. И снова
свет керосиновой лампы,
ласковый, проникновенный,
как на столе Шопена.

Сколько тут ночью песен,
сколько глухих рыданий!
В буклях серебряных месяц
играет, как Бах на органе.
Дивен концерт, звучащий
в дикой лесной чаще.
Это сторожка Пране,
музыки очарованье.

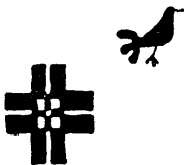
Бродит над озером ветер,
над грабами и дубами.
День отпылал, и светит
лампы дрожащее пламя.
Это сторожка Пране,
сонной лампы миганье,

стены в лунном сиянье,
ночные воспоминанья.

Наискось, по откосам,
катятся ночи дрожки,
кучер клюет носом,
фыркает конь сторожкий.
Лунного цвета дорожки,
посеребрённые дрожки.
Это сторожка Пране,
ночи осенней скитанье.

Сыплются звезды с неба
прямо к порогу сторожки.
Звезды, как хлопья снега,
тихо влетают в окошки.
Ночь в твоём зеркальце малом
яркой звездой засверкала.

Сентябрь 1952 г.



МОГИЛА БЕТХОВЕНА

Холмик под ивой тенистой.
Здесь погребен Бетховен.
Ночью во мгле серебристой
контур долины неровен,
над серебристой чертою —
только небо ночное.

Здесь в вечернем покое
строй неясных растений
листья хмеля с ольхою
в голубой светотени.

Дол окрестный безмолвен.
Здесь погребен Бетховен.

Пролетают к закату
разноцветные птицы.
Песнь поют музыканту
и скворцы и синицы.
Смолкнут щебеты птичьи —
дождь звенит мелодичный.

Он с высот ниспадает,
землю топчет сердито,
и ольшаник сгибает,
и бушует в ракетах.
Холм, деревья, ракиты
мглой дождливою скрыты.

Если ж ветер могучий
тучи рвет и ярится,—
глянет месяц сквозь тучи,
холмик засеребрится,
точно фонарь среди листьев,
он поплывет, серебристый.

Люди к могиле приходят,
приносят венки и букеты,
за бесстрашие в каждой ноте,
за симфонии, за квартеты,
и надпись лент величава:
«Гиганту музыки — слава».

Время перстом огромным
крутит зимы и весны,
над холмиком этим скромным
днем солнце, а ночью звезды,
он лентой пурпурно-мглистой
касается тучи низкой.

Приходят сюда и дети,
маленькие пианисты,
тот положит букетик,
этот — горсточку листьев;
они появятся быстро
и скроются, точно искры.

У взрослых — печаль во взоре;
придут, и шумит пучина

разноязычного моря
признательности единой.
В этом скорбном соседстве
крепнет каждое сердце.

Тут зимой воцарится
грустное запустенье,
не прилетают птицы,
спят под снегом растенья;
ветер тихо застонет,
ленту черную тронет.

Но умчатся метели
одинокую нотой...
Вновь снега почернели,
вновь идет сюда кто-то,
благодарный свободе
этих мощных мелодий

Над могилой чуть вечер
загорается Вesper.



ВАРШАВСКИЕ ГОЛУБИ

Пусть Венеция славится
голубиными стаями
в небесах над Сан-Марко!

Ведь варшавские голуби
блещут в небе крылами
еще более ярко.

Славлю, Город, тебя,
Город славлю во здравье,
и сентябрь именинный,

и твоих голубей,
в голубой вышине
их полет голубиный.

Тех, с варшавских бульваров,
со Старувки, с Розбрата,
с Вильчей, Кручей и Хожей,
мир несущих земле,
стаей мчащих к закату
над Варшавой погожей.

Вам, варшавские голуби,
птицы счастья, несущи
я стихов моих ворох,
я писал их пером
под зеленым шатром
на Мазурских озерах.

*

Когда вражья бомба обрушила дом
и стены на воздух взлетели,
остался голубь, как верный страж,
голубь, укрывшийся в щели.

А когда обломал свои зубы враг,
когда отгрохали мины,
город встал из развалин и вновь
шумит крылом голубиным.

Советские люди спасли весь свет
от черной фашистской ночи,
глянь: над Старувкой ветер летит,
вместе со стаей хлопочет.

Глянь: это птица мира — вверху,
над деревом и над школой.
Слышишь: хлопают крылья! Шумит
варшавский голубь веселый!

1953



КОНЬ В ТЕАТРЕ

На премьеру сатирического представления по ошибке послали коню приглашение; дескать, «имеем честь, лучшее место, такой-то вечер».

Конь приехал, но запоздал, в расчете на пышную встречу.

Билетер не хотел пускать. Но швейцар поклонился слева:

— Могут быть неприятности, лучше впустить, коллега.

Конечно, ржет и паскудит... А вдруг он
инкогнито, Некто?
С виду он конь, а по сути, может, какой
директор.
Дожили: все иллюзорно. Пойди разберись со
всеми.
Простой человек не пустит. А после скандалят
в сейме.
Пустим.— Они поклонились. Конь в фойе
оказался.
Тихо заржал от восторга. Потом слегка
причесался.
И отправился в зал. Там в первом ряду улегся.
Солидно взглянул на сцену. И зрелищем сим
увлекся.
На сцене пела певица, ладонь прижимала к
сердцу.
Однако спустя полчаса заскучал он и начал
вертеться.
Кто-то ему улыбнулся, что коню было очень
лестно.
Конь потянулся и встал (копытами в плюш)
на кресло

и стал раздавать поклоны. Причем весьма
безупречно:
посланникам очень сердечно, студентам вполне
беспечно.
Каждому, дескать, свое — будто он знал
Лукреция.
В антракте конь овладел словами «аспект»
и «концепция»
и сыпал ими на все стороны, производя колос-
сальный эффект:
игогогогоконцепция, игогогогоаспект.
Конь говорил. Публика ловила его слова.
Потом прибежал фотограф. Кинооператор
накрутил две ленты.
А в финале программы на сцене была намале-
вана трава.
Конь вскочил. И траву съел. И сорвал
аплодисменты.



С О Н П С А

Цветной капусты в поле
хватает на всю жизнь —
знай нажирайся вволю
да костью не давься!
Ужо набью я брюхо
капустою цветной.
О, вольная житуха!
Я чудный пес цепной!

И ждет меня в алькове,
коль я туда зашел,
на четырех воловьих
копченых ножках стол.
Сжираю все четыре,
осталась лишь доска.
В прекрасном этом мире
неведома тоска.

По лугу ходят телки,
их всех шестьдесят шесть —
сосиски, да и только,
их взять бы да и съесть,
так разом все сцепленьё
аж в километр длиной.
О, чудное мгновенье,
о, мир прекрасный мой.

На горке лес дремучий,
стволы — как колбаса,
и вереск в нем пахучий,
как соус, разлился.
Я этот лес сжираю,
по мискам соус лью.

Живи, не умирая!
О, слава бытию!

Но — осень! С каждой ветки
дождейки — кап, кап, кап.
Чу! С веточек котлетки
летят. Но прочь из лап
их вырывает ветер,
в глаза мне брызжет жир.
Свинячий месяц светит.
О, что за свинский мир!

1953



ПЕСНИ

1

Только выйдешь ты из дома,
и как будто за тобою
августовскою листвою
ночь шумит, тобой ведома.

За тобою птичьи тени,
клест, щегол, снегирь, синица.
И в тебе самой лучится
августовское свеченье.

Ибо ты в полночном зданье —
украшенье, ты как месяц,
осторожными перстами
звезды ты из горсти мечешь.

С плеч твоих спадает долу
плащ, щебечущий, как птицы,
и летит по коридору,
по двору, где свет струится

от Венеры. Ты — огромность
горних туч и блеск камней.
Мне бы глаз твоих суровость
уберечь от волн забвенья.

2

За столом, при полнолунье
над бумагой застывая,
твои руки воспеваю,
твое сердце воспеваю;

голос твой — как сладость ночи,
губы — словно шелковица,
уши — словно островочки
в дальнем плаванье Улисса.

А лицо твое — та тучка,
та акация хмельная.
Я беру перо и ручку
и в чернила окунаю.

Пусть стремится слово к слову,
как слетает птица к птице,
и вернейшая основа
в точный образ превратится.

Минул день. Все напряженной
мчат бессонные мгновенья.
Я б хотел твои ладони
уберечь от волн забвенья.

Сколько пройдено тропинок
и полями, и горами?
Сколько ливней, сколько снега,—
под ночными фонарями?

Сколько писем, расставаний,
и печалей, и веселий?
Вновь упрямо мы вставали,
чтоб идти, дойти до цели.

Сколько дел, трудов бессонных,
и надежд, и огорчений?
Сколько хлебов разделенных?
Поцелуев? Книг? Ступеней?

Сколько было строф крылатых?
Сколько раз стихи горели?
Сколько счастья при Скарлатти?
А Бетховен? А Корелли?

А глаза твои как свечи,
в них — сердечное горенье.
Я хотел бы твое сердце
уберечь от волн забвенья.

Вот он, труд наш ежедневный,
наше малое строенье,
труд упорный, неизменный,
неустанное творенье.

Идут дни, уходят сутки,
весны, осени минуют,
и поток вседневной сути
мы в ладонях формируем.

Мы — две части неразлучных,
здесь рождается наша сила,
чтобы хлеб давать насущный,
чтобы лампа нам светила,

я дружу и ты дружи с ней
в наших осенях и веснах,
мы, жена, стоим при жизни,
как ткачи стоят при кроснах.

И работаем над тканью
для иного поколенья.
Я б хотел свечи сиянье
уберечь от волн забвенья.

Музицируем с тобою.
Перед музыкой бессильны,
любим скрипки, и гобой,
и альты, и клавесины.

Ты подсвечник ставишь в центре
со свечой высокой, красной,
чтобы к отзвуку в концерте
добавлялся отсвет ясный.

Зажигаешь свет веселый,
и сияет луч искусства
в час, когда из радиолы
льется Третий Бранденбургский.

На стене старинный танец
радость пляшет неустанно,
и живет свечи мерцанье
лик Иоганна Себастьяна.

И глядит с портрета мастер,
улыбаясь в умиленье.
Я б хотел минуты счастья
уберечь от волн забвенья.

Мы не те, кто прелесть мира
потребляют, а, напротив,
мы творим неутомимо
все, чтобы ее упрочить.

И пускай напастей сотни
нас без жалости крушили,
разливаем блеск высотный
на растенья и машины.

В кинозалах серебристых
ожидаем фильма оба
среди всех нашедших пристань
после утра трудового.

В дымке дни над нами кружат,
ввысь уносятся толпою,
над красой трудясь, что служит
вновь труду, как мы с тобою.

С неба снег свисает жесткий
вся ты в дымке снеговья.
Мне бы снег в твоей прическе
уберечь от волн забвенья.

Часть труда уже готова,
а потом еще частица,
снова ночь, и утром снова
с частью часть соединится.

Солнце входит блеском летним
нам в сердца легко и добро.
Мы опять руками лепим
из бесформенности образ.

Мир вещами заселяют
работящие ладони.
Длится труд. Так возникают
сотни строф, домов, симфоний.

Снова ночь. Как великаны,
встали ели. Снег посыпал.
В небе звезды замелькали,
словно блики в недрах скрипок.

За окошком месяц блёклый
в тучах, словно в оперенье.
Мне б хотелось блеск на стеклах
уберечь от волн забвенья.

На мосту метель клубится,
веет снег в туманном свете,
дует ветер, снег клубится,
как дымок на парашете.

Фонари в кругу снежинок
расплылись на расстоянье.
Очень мало пассажиров
на автобусной стоянке:

только двое. Словно в чашах
среди белого покоя,
в глубине зимы стоящих,
здесь нас двое над рекою.

Здесь бы место двум воронам
или трем — над этим мостом,
к нам глазами обращенным —
трем воронам в свете звездном.

А ветра над этим берегом
гнали б тучи в отдаленье.
Я б хотел ворон под снегом
уберечь от волн забвенья.

Я пишу тебе, родная,
из сторожки в эту пору,
когда лампа, догорая,
помогает разговору.

В доме пусто, одиноко.
Маятник стрекочет глухо.
Дверь открылась. На пороге
мать лесничего, старуха.

Вся в тревоге, вся в смятенье,
потемнела от заботы.
Говорит: «Опять взлетели
в поднебесье самолеты.

Просто, говорит, машина,
и какая, все я знаю,
но зачем-то беспричинно
грозный час припоминаю».

Мать, мы сильны, мы едины,
мы не станем на колени.
Я б хотел твои морщины
уберечь от волн забвенья.

Вы простите, люди, если
в песнях я давал так мало,
что не те бывали песни,
быть которым надлежало;

что излишни в них красоты,
побрякушки, листья, птахи,
серебристость, позолота,
звезды, месяцы и Бахи.

Что ж, порой звезда блестела
у меня в стихах недаром.
Если б мог, то я бы сделал
целый мир одним шандалом.

Для того и песни в мире,—
так я думаю об этом,—
чтобы все щедрей и шире
зорька шла по континентам,

чтобы ярче разалелось
по всем улицам столицы
ясное сиянье Эос
с строгим ликом мастерицы.

Мы на полпути. Дороги
кличут без отдохновенья.
Пусть же след мой на дорогах
уцелеет от забвенья.

Лесная сторожка Пране, 1953 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Самойлов. Константы Ильдефонс Галчинский	3
---	---

СТИХИ

Помолвка Джона Китса. Перевод А. Штейнберга	27
Сервус, мадонна. Перевод Д. Самойлова	30
Товарная улица. Перевод А. Штейнберга	32
Путь в счастливую Аравию. Перевод А. Штейнберга	34
На смерть мотылька, которого раздавил грузовик. Перевод Б. Слуцкого	36
Просьба о счастливых островах. Перевод Д. Самойлова	37
Песнь херувимская. Перевод А. Штейнберга	39
Инга Барч. Перевод Б. Слуцкого	43

Счастье в Вильно. <i>Перевод А. Штейнберга</i> . . .	49
Фарландия. <i>Перевод В. Корнилова</i>	51
О моей поэзии. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	54
Письмо с реки Лимпопо. <i>Перевод В. Корнилова</i>	56
О нашем хозяйстве. <i>Перевод В. Корнилова</i> . . .	58
Песенка. <i>Перевод В. Корнилова</i>	59
Всё убегаем. <i>Перевод В. Корнилова</i>	61
Визит. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	63
Скумбрия в томате. <i>Перевод А. Штейнберга</i> . . .	64
Импресарио и поэт. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . .	67
Анинские ночи. <i>Перевод И. Бродского</i>	70
Noctes aninenses. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	72
Странные дачники. <i>Перевод В. Корнилова</i>	84
Песнь о солдатах с Вестерпльятте. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	86
Письмо из плена. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	89
Звезды. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	91
Улица Сарг. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	93
Отчего не поет огурец. <i>Перевод М. Живова</i> . . .	97
Письмо с пунктиком. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	99
Небо. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	102
Заговоренные дрожки. <i>Перевод И. Бродского</i> . . .	106
Кафе-бар «Океан». <i>Перевод А. Ревича</i>	114
Две гитары. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	119
Маленькие кинозалы. <i>Перевод И. Бродского</i> . . .	122
Спящая девочка. <i>Перевод М. Петровых</i>	125
Прощанье с фонарями. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . .	126
Лирика. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	128
Реквием? <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	130
Перед Мавзолеем Ленина. <i>Перевод М. Живова</i> . .	133

Трубы праздничной почты. Перевод Л. Мартынова	135
Люблю. Перевод Д. Самойлова	140
Дифирамб в честь мира. Перевод Б. Слуцкого	142
Перекличка городов. Перевод М. Светлова	144
Польские звезды. Перевод Я. Белинского	146
Если бы у меня было одиннадцать шляп. Перевод Л. Мартынова	149
Пасхальная ночь Иоганна Себастьяна Баха. Перевод Д. Самойлова	151
Варшава. Перевод А. Ревича	155
Ольштынская хроника. Перевод Ю. Вронского	157
Встреча с матерью. Перевод Д. Самойлова	171
Лирический диалог. Перевод А. Ревича	178
Вит Ствош. Перевод Д. Самойлова	181
Необычайное происшествие. Перевод А. Голембы	211
Обманчивая популярность. Перевод А. Голембы	214
Седьмое небо. Перевод А. Штейнберга	217
Сани. Перевод М. Петровых	222
Месяц. Перевод А. Штейнберга	226
В лесной сторожке. Перевод Ю. Вронского	232
Могила Бетховена. Перевод М. Ярмуша	235
Варшавские голуби. Перевод Д. Самойлова	239
Конь в театре. Перевод И. Бродского	242
Сон пса. Перевод Л. Мартынова	245
Песни. Перевод Д. Самойлова	248

*Константы Ильдефонс
Галчинский*

СТИХИ

Редактор С. Тонконогова
Художественный редактор
Г. Андропова
Технический редактор
М. Позднякова
Корректор Д. Эткина

Сдано в набор 29/XI 1966 г. Под-
писано к печати 24/IV 1967 г.
Бумага типографская № 1 60×92¹/₃₂.
8,25 печ. л.- 8,25. усл. печ. л. 5,73
уч.-изд.+1 вкл.=5,77 л. Тираж 25 000.
Заказ 385. Цена 38 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Тульская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109